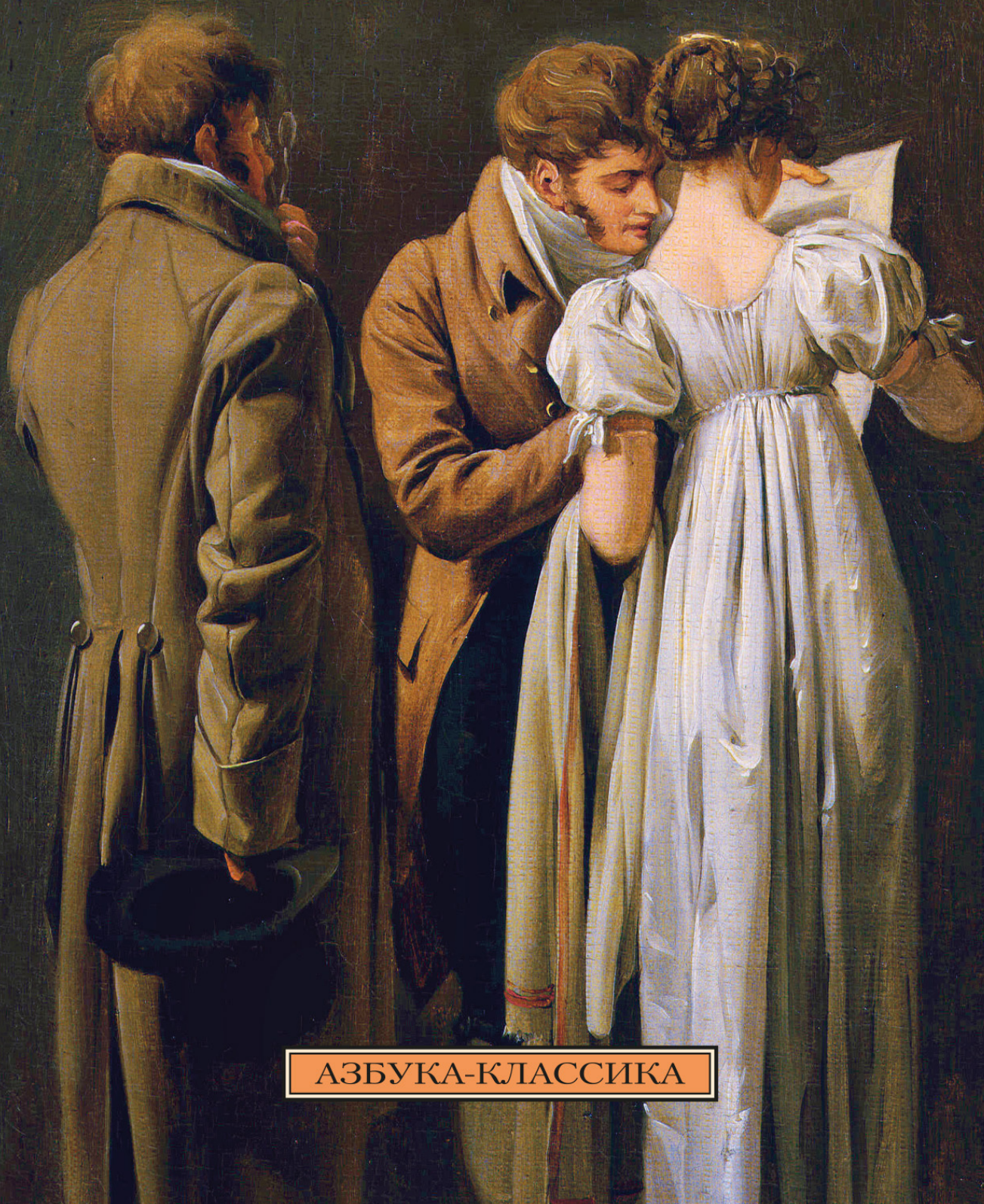


ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАК

*Утраченные
иллюзии*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Оноре де Бальзак

Утраченные иллюзии

«Азбука»

1843

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Бальзак О.

Утраченные иллюзии / О. Бальзак — «Азбука», 1843 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-21469-9

«Утраченные иллюзии» – роман Бальзака, помещенный им в «Человеческой комедии» в раздел «Сцены провинциальной жизни», на самом деле дает яркую и фантастически подробную панораму жизни французской столицы, вновь убеждая в невероятной способности французского классика проникнуть в любые сферы современной ему жизни, в самые потаенные уголки сознания персонажей. Герои романа Люсьен и Давид – юный провинциальный поэт и его друг, наивный изобретатель – смотрят на действительность сквозь розовые очки. Однако, попав в клещи нужды, они мало-помалу разочаровываются в прежних идеалах, познавая, какие механизмы на самом деле управляют обществом. Наступает горькая ясность: благими намерениями взрослеющих юношей вымощена дорога к успеху любой ценой.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-21469-9

© Бальзак О., 1843
© Азбука, 1843

Содержание

Часть первая. Два поэта	6
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Оноре де Бальзак

Утраченные иллюзии

© Н. Г. Яковлева (наследник), перевод, 2022

© В. В. Левик (наследники), перевод стихов, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013

Издательство АЗБУКА®

* * *

Виктору Гюго

Вы, по счастливому уделу Рафаэлей и Питтов, едва выйдя из отрочества, были уже большим поэтом; Вы, как Шатобриан, как все истинные таланты, восставали против завистников, притаившихся за столбцами Газеты или укрывшихся в ее подвалах. Я желал бы поэтому, чтобы Ваше победоносное имя способствовало победе произведения, которое я посвящаю Вам и которое, по мнению некоторых, является не только подвигом мужества, но и правдивой историей. Неужели журналисты, как и маркизы, финансисты, лекари, прокуроры, не были бы достойны пера Мольера и его театра? Почему бы Человеческой комедии, которая castigat ridendo mores¹, пренебречь одной из общественных сил, если парижская Печать не пренебрегает ни одной?

Я счастлив, милостивый государь, пользуясь случаем, принести Вам дань моего искреннего восхищения и дружбы.

Де Бальзак

¹ Смехом исправляет нравы(лат.).

Часть первая. Два поэта

В те времена, к которым относится начало этой повести, печатный станок Стенхопа и валики, накатывающие краску, еще не появились в маленьких провинциальных типографиях. Несмотря на то что Ангулем основным своим промыслом был связан с парижскими типографиями, здесь по-прежнему работали на деревянных станках, обогативших язык ныне забытым выражением: *довести станок до скрипа*. В здешней отсталой типографии все еще существовали пропитанные краской кожаные мацы, которыми тискальщик наносил краску на печатную форму. Выдвижная доска, где помещается форма с набранным шрифтом, на которую накладывается лист бумаги, высекалась из камня и оправдывала свое название *мрамор*. Прожорливые механические станки в наши дни настолько вытеснили из памяти тот механизм, которому, несмотря на его несовершенства, мы обязаны прекрасными изданиями Эльзевиров, Планте-нов, Альдов и Дидо, что приходится упомянуть о старом типографском оборудовании, вызывавшем в Жероме-Никола Сешаре суеверную любовь, ибо оно играет некую роль в этой большой повести о малых делах.

Сешар был прежде подмастерьем-тискальщиком – *Медведем*, как на своем жаргоне называют тискальщиков типографские рабочие, набирающие шрифт. Так, очевидно, прозвали тискальщиков за то, что они, точно медведи в клетке, топчутся на одном месте, раскачиваясь от кипсея к станку и от станка к кипсею. Медведи в отместку окрестили наборщиков *Обезьянами* за то, что наборщики с чисто обезьяньим проворством вылавливают литеры из ста пятидесяти двух отделений наборной кассы, где лежит шрифт. В грозную пору 1793 года Сешару было около пятидесяти лет от роду, и он был женат. Возраст и семейное положение спасли его от всеобщего набора, когда под ружье встали почти все рабочие. Старый тискальщик очутился один в типографии, хозяин которой, иначе говоря *Простак*, умер, оставив бездетную вдову. Предприятию, казалось, грозило неминуемое разорение: отшельник-Медведь не мог преобразиться в Обезьяну, ибо, будучи печатником, он так и не научился читать и писать. Несмотря на его невежество, один из представителей народа, спеша распространить замечательные декреты Конвента, выдал тискальщику патент мастера печатного дела и обязал его работать на нужды государства. Получив этот опасный патент, гражданин Сешар возместил убытки вдове хозяина, отдав ей сбережения своей жены, и тем самым приобрел за полцены оборудование типографии. Но не в этом было дело. Надо было грамотно и без промедления печатать республиканские декреты. При столь затруднительных обстоятельствах Жерому-Никола Сешару посчастливилось встретить одного марсельского дворянина, не желавшего ни эмигрировать, чтобы не лишиться угодий, ни оставаться на виду, чтобы не лишиться головы, и вынужденного добывать кусок хлеба любой работой. Итак, граф де Мокомб облачился в скромную куртку провинциального фактора: он набирал текст и держал корректуру декретов, которые грозили смертью гражданам, укрывавшим аристократов. Медведь, ставший Простаком, печатал декреты, расклеивал их по городу, и оба они остались целы и невредимы. В 1795 году, когда шквал террора миновал, Никола Сешар вынужден был искать другого *мастера на все руки*, способного совмещать обязанности наборщика, корректора и фактора. Один аббат, отказавшийся принять присягу и позже, при Реставрации, ставший епископом, занял место графа де Мокомба и работал в типографии вплоть до того дня, когда первый консул восстановил католичество. Граф и епископ встретились потом в палате пэров и сидели там на одной скамье. Хотя в 1802 году Жером-Никола Сешар не стал более грамотным, чем в 1793-м, все же к тому времени он припас *немалую толику* и мог оплачивать фактора. Подмастерье, столь беспечно смотревший в будущее, стал грозой для своих Обезьян и Медведей. Скарედность начинается там, где кончается бедность. Как скоро тискальщик почуял возможность разбогатеть, корысть пробудила в нем практическую сметливость, алчную, подозрительную и проницательную. Его житейский

опыт восторжествовал над теорией. Он достиг того, что на глаз определял стоимость печатной страницы или листа. Он доказывал несведущим заказчикам, что набор жирным шрифтом обходится дороже, нежели светлым; если речь шла о петите, он уверял, что этим шрифтом набирать много труднее. Наиболее ответственной частью высокой печати было наборное дело, в котором Сешар ничего не понимал, и он так боялся остаться внакладе, что, заключая сделки, всегда старался обеспечить себе львиный барыш. Если его наборщики работали по часам, он глаз с них не сводил. Если ему случалось узнать о затруднительном положении какого-нибудь фабриканта, он за бесценок покупал у него бумагу и прятал ее в свои подвалы. К этому времени Сешар уже был владельцем дома, в котором с незапамятных времен помещалась типография. Во всем он был удачлив: он остался вдовцом, и у него был только один сын. Он поместил его в городской лицей, не столько ради того, чтобы дать ему образование, сколько ради того, чтобы подготовить себе преемника; он обращался с ним сурово, желая продлить срок своей отеческой власти, и во время каникул заставлял сына работать за наборной кассой, говоря, что юноша должен приучаться зарабатывать на жизнь и в будущем отблагодарить бедного отца, трудившегося не покладая рук ради его образования. Распростившись с аббатом, Сешар назначил на его место одного из четырех своих наборщиков, о котором будущий епископ отзывался как о честном и смышленном человеке. Стало быть, старик мог спокойно ждать того дня, когда его сын станет во главе предприятия и оно расцветет в его молодых и искусных руках. Давид Сешар блестяще окончил Ангулемский лицей. Хотя папаша Сешар, бывший Медведь, неграмотный, безродный выскочка, глубоко презирал науку, все же он послал своего сына в Париж обучаться высшему типографскому искусству; но, посылая сына в город, который он называл *раем рабочих*, старик так убеждал его не рассчитывать на родительский кошелек и так настойчиво рекомендовал накопить побольше денег, что, видимо, считал пребывание сына в *стране Премудрости* лишь средством к достижению своей цели. Давид, обучаясь в Париже ремеслу, попутно закончил свое образование. Метранпаж типографии Дидо стал ученым. В конце 1819 года Давид Сешар покинул Париж, где его жизнь не стоила ни сантима отцу, теперь вызывавшему сына домой, чтобы вручить ему бразды правления. Типография Никола Сешара печатала судебные объявления в газете, в ту пору единственной в департаменте, исполняла также заказы префектуры и канцелярии епископа, а такие клиенты сулили благоденствие энергичному юноше.

Именно тогда-то братья Куэнте, владельцы бумажной фабрики, купили второй патент на право открыть типографию в Ангулеме; до той поры из-за происков старика Сешара и военных потрясений, вызвавших во времена Империи полный застой в промышленности, на этот патент не было спроса; по причине этого же застоя Сешар в свое время не приобрел его, и скарденность старика послужила причиной разорения старинной типографии. Узнав о покупке патента, Сешар обрадовался, понимая, что борьба, которая неминуемо возникнет между его предприятием и предприятием Куэнте, обрушится всей тяжестью на его сына, а не на него. «Я бы не выдержал, – размышлял он, – но парень, обучавшийся у господ Дидо, еще потягается с Куэнте». Семидесятилетний старик вздыхал о том времени, когда он сможет зажить в свое удовольствие. Он слабо разбирался в тонкостях типографии, зато слыл большим знатоком в искусстве, которое рабочие шутя называли *пьянографией*, а это искусство, весьма почитаемое божественным автором «Пантагрюэля», подвергаясь нападкам так называемых *Обществ трезвости*, со дня на день все больше предается забвению. Жером-Никола Сешар, покорный судьбе, предопределенной его именем², страдал неутолимой жадой. Многие годы жена сдерживала в должных границах эту страсть к виноградному соку – влечение, столь естественное для Медведей, что г-н Шатобриан подметил это свойство даже у настоящих медведей в Америке; однако философы заметили, что в старости привычки юных лет проявляются с

² Сешар (Sechard) – Сохнувший (от *фр.* secher).

новой силой. Сешар подтверждал это наблюдение: чем больше он старился, тем больше любил выпить. Эта страсть оставила на его медвежьей физиономии следы, придававшие ей своеобразие. Нос его принял размеры и форму прописного А – кегля тройного канона. Щеки с прожилками стали похожи на виноградные листья, усеянные бородавками, лиловатыми, багровыми и часто всех цветов радуги. Точь-в-точь чудовищный трюфель среди осенней виноградной листвы! Укрытые лохматыми бровями, похожими на запорошенные снегом кусты, маленькие серые глазки его хитро поблескивали от алчности, убивавшей в нем все чувства, даже чувство отцовства, и сохраняли проницательность даже тогда, когда он был пьян. Лысая голова, с плешью на темени, в венчике седеющих, но все еще выющихся волос, вызывала в воображении образы францисканцев из сказок Лафонтена. Он был приземист и пузат, как старинные лампы, в которых сгорает больше масла, нежели фитиля; ибо излишества, в чем бы они ни сказывались, воздействуют на человека в направлении, наиболее ему свойственном: от пьянства, как и от умственного труда, тучный тучнеет, тощий тощает. Жером-Никола Сешар лет тридцать не расставался со знаменитой муниципальной треуголкой, в ту пору еще встречавшейся кое-где в провинции на голове городского барабанщика. Жилет и штаны его были из зеленоватого бархата. Он носил старый коричневый сюртук, бумажные полосатые чулки и башмаки с серебряными пряжками. Подобный наряд, выдававший в буржуа простолюдина, столь соответствовал его порокам и привычкам, так беспощадно изобличал всю его жизнь, что казалось, старик родился одетым: без этих облачений вы не могли бы вообразить его, как луковицу без шелухи. Если бы старый печатник издавна не обнаружил всю глубину своей слепой алчности, одного его отречения от дел было бы достаточно, чтобы судить о его характере. Несмотря на познания, которые его сын должен был вынести из высокой школы Дидо, он уже давно замыслил *обработать* дельце повыгоднее. Выгода отца не была выгодой сына. Но в делах для старика не существовало ни сына, ни отца. Если прежде он смотрел на Давида как на единственного своего ребенка, позже сын стал для него просто покупателем, интересы которого были противоположны его интересам: он хотел дорого продать, Давид должен был стремиться дешево купить; стало быть, сын превращался в противника, которого надо было победить. Это перерождение чувства в личный интерес, протекающее обычно медленно, сложно и лицемерно у людей благовоспитанных, совершилось стремительно и непосредственно у старого Медведя, явившего собою пример того, как лукавая пьянография может восторжествовать над ученой типографией. Когда сын приехал, старик окружил его той расчетливой любезностью, какой люди ловкие окружают свои жертвы: он ухаживал за ним, как любовник ухаживает за возлюбленной; он поддерживал его под руку, указывал, куда ступить, чтобы не запачкать ноги; он приказал положить грелку в его постель, затопить камин, приготовить ужин. На другой день, пытаясь за обильным обедом напоить сына, Жером-Никола Сешар, сильно подвыпивший, сказал: «*Потолкуем о делах?*» – и фраза эта прозвучала так нелепо между приступами икоты, что Давид попросил отложить деловые разговоры до следующего дня. Старый Медведь слишком искусно умел извлекать пользу из своего опьянения, чтобы отказаться от долгожданного поединка. «Довольно!» – заявил он. Пятьдесят лет он тянул лямку и ни одного часа не желает обременять себя. Завтра же его сын должен стать *Простаком*.

Тут, пожалуй, уместно сказать несколько слов о самом предприятии. Типография уже с конца царствования Людовика XIV помещалась в той части улицы Болье, где она выходит на площадь Мюрье. Стало быть, дом издавна был приспособлен к нуждам типографского производства. Обширная мастерская, занимавшая весь нижний этаж, освещалась через ветхую стеклянную дверь со стороны улицы и через широкое окно, обращенное во внутренний дворик. В контору к хозяину можно было пройти и через подъезд. Но в провинции типографское дело неизменно возбуждает столь живое любопытство, что заказчики предпочитали входить в мастерскую прямо с улицы через стеклянную дверь, проделанную в фасаде, хоть и надо было спускаться на несколько ступенек, так как пол в мастерской приходился ниже уровня мосто-

вой. От изумления любопытствующие обычно не принимали во внимание неудобств типографии. Если им случалось, пробираясь по ее узким проходам, засмотреться на своды, образуемые листами бумаги, растянутыми на бечевках под потолком, они наталкивались на наборные кассы или задевали шляпами о железные распорки, поддерживающие станки. Если им случалось заглядеться на наборщика, который читал оригинал, проворно вылавливал буквы из ста пятидесяти двух ящичков кассы, вставлял шпону и перечитывал набранную строку, они наталкивались на стопы увлажненной бумаги, придавленной камнями, или ударялись боком об угол станка; все это к великому удовольствию Обезьян и Медведей. Не было случая, чтобы кому-нибудь удавалось дойти без приключений до двух больших клеток, находившихся в глубине этой пещеры и представлявших собою со стороны двора два безобразных выступа, в одном из которых восседал фактор, а в другом сам хозяин типографии. Виноградные лозы, изящно обвивавшие стены здания, приобретали, принимая во внимание славу хозяина, особо приманивающую местную окраску. В глубине двора, прилепившись к стене соседнего дома, ютилась полуразрушенная пристройка, где смачивали и подготавливали для печати бумагу. Там помещалась каменная мойка со стоком, где перед печатанием и после печатания промывались формы, в просторечье *печатные доски*; отсюда в канаву стекала черная от типографской краски вода и там смешивалась с кухонными помоями, цветом своим смущая крестьян, съезжавшихся в базарные дни в город. «А ну как сам черт моется в этом доме?» – говаривали они. К пристройке примыкали с одной стороны кухни, с другой – сарай для дров. Во втором этаже этого дома, с мансардой из двух каморок, было три комнаты. Первая из них, находившаяся над сенями и столь же длинная, если не считать ветхой лестничной клетки, освещалась с улицы сквозь узкое оконце, а со двора сквозь слуховое окно и служила вместе и прихожей, и столовой. Незатейливо выбеленная известью, она с грубой откровенностью являла образец купеческой скарденности; грязный пол никогда не мылся; обстановку составляли три скверных стула, круглый стол и буфет, стоявший в простенке между дверьми, которые вели в спальню и гостиную; окна и двери потемнели от грязи; комната была обычно завалена кучами отливок и чистой бумаги; нередко на этих кучах можно было увидеть бутылки, тарелки с жарким или сладостями со стола Жерома-Никола Сешара. Спальня, окно которой, в раме со свинцовым переплетом, выходило во двор, была обтянута ветхими коврами, какими в провинции украшают стены зданий в день праздника Тела Господня. Там стояли широкая кровать с колонками и пологом, с шитыми подзорами, и пунцовым покрывалом, два кресла, источенные червями, два мягких стула орехового дерева, крытые ручной вышивкой, старая конторка и на камине – часы. Эта комната, дышавшая патриархальным благодушием и выдержанная в коричневых тонах, была обставлена Рузо, предшественником и хозяином Жерома-Никола Сешара. Гостиная, отделанная в новом вкусе г-жою Сешар, являла взору ужасающую деревянную обивку стен, окрашенную в голубую краску, как в парикмахерской; верхняя часть стен была оклеена бумажными обоями, на которых темно-коричневой краской по белому полю были изображены сценки из жизни Востока; обстановка состояла из шести стульев, обитых синим сафьяном, со спинками в форме лиры. Два окна, грубо выведенные арками и выходившие на площадь Мюрье, были без занавесей; на камине не было ни канделябров, ни часов, ни зеркала. Г-жа Сешар умерла в самый разгар своего увлечения убранством дома, а Медведь, не усмотрев в напрасных ухищрениях никакой выгоды, отказался от этой затеи. Сюда именно, *pede titubante*³, привел Жером-Никола Сешар своего сына и указал ему на лежавшую на круглом столе опись типографского имущества, составленную фактором под его руководством.

– Читай, сынок, – сказал Жером-Никола Сешар, переводя пьяный взгляд с бумаги на сына и с сына на бумагу. – Увидишь, что я отдаю тебе не типографию, а сокровище.

³ Спотыкаясь (*лат.*).

– «Три деревянных станка с железными распорками, с чугунной плитой для растирания красок...»

– Мое усовершенствование, – сказал старик Сешар, прерывая сына.

– «...со всем оборудованием, кипсеями, мацами, верстаками и прочая... тысяча шестьсот франков!...» Но, отец, – сказал Давид Сешар, выпуская из рук инвентарную опись, – да это просто какие-то *деревяшки*, а не станки! И ста экую они не стоят, разве для топки печей пригодятся...

– Деревяшки?! – вскричал старик Сешар. – Де-ре-вяшки?... Бери-ка опись и пойдем вниз! Поглядишь, способна ли ваша слесарная дребедень работать так, как эти добрые, испытанные, старинные станки. И тогда у тебя язык не повернется хулить честные станки, ведь они прочны, что твои почтовые кареты, и будут служить тебе всю твою жизнь, не разоряя на починки. Деревяшки! Да эти *деревяшки* прокормят тебя! Де-ре-вяшки! Твой отец работал на них целую четверть века. Они и тебя в люди вывели.

Отец сломя голову сбежал вниз по исхоженной, покосившейся, шаткой лестнице и не споткнулся; он распахнул дверь, ведущую из сеней в типографию, бросился к ближайшему станку, как и прочие, ради этого случая тайком смазанному маслом и вычищенному, и указал на крепкие дубовые стойки, натертые до блеска учеником.

– Не станок, а загляденье! – сказал он.

Печатался пригласительный билет на свадьбу. Старый Медведь опустил рашкет на декель и декель на мрамор, который он прокатил под станок; он выдернул куку, размотал бечевку, чтобы подать мрамор на место, поднял декель и рашкет с проворством молодого Медведя. Станок в его руках издал столь забавный скрип, что вы могли счесть его за дребезжание стекла под крылом птицы, ударившейся на лету об окно.

– Неужто хоть один английский станок так работает? – сказал отец изумленному сыну.

Старик Сешар от первого станка перебежал ко второму, от второго к третьему и поочередно на каждом из них с одинаковой ловкостью проделал то же самое. От его глаз, помутившихся от вина, не ускользнуло какое-то пятнышко на последнем станке, оставшееся по небрежности ученика; пьяница, крепко выругавшись, принялся начищать станок полой сюртука, уподобясь барышнику, который перед продажей лошади чистит ее скребницей.

– С этими тремя станками ты, Давид, и без фактора выручишь тысяч девять в год. Как будущий твой компаньон, я не разрешаю тебе заменять их проклятыми металлическими станками, от которых изнашивается шрифт. Вы там, в Париже, подняли шум – то-то, сказать, чудо! – вокруг изобретения вашего проклятого англичанина, врага Франции, только и помышлявшего что о выгоде для словолитчиков. А-а, вы бредите стенхопами! Благодарствую за ваши стенхопы! Две тысячи пятьсот франков каждый! Да это почти вдвое дороже всех моих трех сокровищ, вместе взятых! Вдобавок они недостаточно упруги и сбивают литеры. Я не учен, как ты, но крепко запомни: стенхопы – смерть для шрифтов. Мои три станка будут служить тебе без отказа, печатать *чистехонько*, а большего от тебя ангулемцы и не потребуют. Печатай ты хоть на железе, хоть на дереве, хоть на золоте или на серебре, они ни лиара лишнего не заплатят.

– «*Item*⁴, – читал Давид, – пять тысяч фунтов шрифта из словолитни господина Вафлара...»

При этом имени ученик Дидо не мог удержаться от улыбки.

– Смейся, смейся! Двенадцать лет минуло, а шрифты как новенькие. Вот это, скажу, словолитня! Господин Вафлар – человек честный и материал поставляет прочный; а, по мне, лучший словолитчик тот, с кем реже приходится дело иметь.

⁴ Также(*лат.*).

– «...оценены в десять тысяч франков...» – продолжал Давид. – Десять тысяч франков, отец! Но ведь это по сорок су за фунт, а господа Дидо продают новый цицero по тридцать шесть су за фунт. Десять су за фунт, как за простой лом, красная цена вашим старым*гвоздям*.

– Что-о? Гвозди? Это ты так называешь батарды, куле, рондо господина Жилле, бывшего императорского печатника! Да этим шрифтам цена шесть франков фунт! Лучшие образцы граверного искусства! Пять лет, как куплены, а посмотри-ка, многие из них еще новешенькие!

Старик Сешар схватил несколько пачек с образцами гарнитур, не бывшими в употреблении, и показал их сыну.

– Я по ученой части слаб, не умею ни читать, ни писать, но у меня достаточно смекалки, чтобы распознать, откуда пошли английские шрифты твоих господ Дидо! От курсивов фирмы Жилле! Вот*рондо*, – сказал он, указывая на одну из касс и извлекая оттуда литеру *М* круглого цицero, еще не початого.

Давид понял, что бесполезно спорить с отцом. Надо было либо все принять, либо все отвергнуть, сказать*да* или *нет*. Старый Медведь включил в опись решительно все, до последней бечевки. Любая рамка, дощечка, чашка, камень и щетка для промывки – все было оценено с рачительностью скряги. Общая цифра составляла тридцать тысяч франков, включая патент на звание мастера-типографа и клиентуру. Давид раздумывал, выйдет ли прок из такого дела? Заметив, что сын озадачен описью имущества, старик Сешар встревожился; он предпочел бы ожесточенный торг молчаливому согласию. Уменьше торговаться говорит о том, что покупатель – человек делового склада и способен защищать свои выгоды. «*Кто не торгуется*, – говорил старик Сешар, – *тот ничего и не заплатит*». Стараясь угадать, о чем думает его сын, он между тем перечислял жалкое оборудование, без которого, однако ж, не обходится ни одна провинциальная типография; он поочередно подводил Давида к станку для лощения бумаги, к станку для обрезывания бумаги, предназначенной для выполнения городских заказов, и расхваливал их устройство и прочность.

– Старое оборудование всегда самое лучшее, – сказал он. – В типографском деле за него надобно было бы платить дороже, чем за новое, как это водится у золотобитов.

Ужасающие заставки с изображениями гименов, амуров, мертвецов, поднимающих камень своего собственного надгробия, предназначенные увенчивать какое-нибудь *М* или *В*, огромные обрамления для театральных афиш, украшенные масками, – все это благодаря красноречию пьяного Жерома-Никола превращалось в нечто, не имеющее себе цены. Он рассказал сыну о том, как крепко провинциалы держатся за свои привычки: тщетны были бы усилия соблазнить их даже кое-чем и лучшим. Он сам, Жером-Никола Сешар, пытался было пустить в ход календарь, затмевавший собою пресловутый «Двойной Льежский», который печатался на сахарной бумаге! И что же? Великолепным его календарям предпочли привычный «Двойной Льежский»! Давид убедится в ценности этой старины, коль скоро станет продавать ее дороже самых разорительных новинок.

– Так вот что, сынок! Провинция есть провинция, а Париж – это Париж. Положим, явится к тебе человек из Умо заказать пригласительные билеты на свадьбу, а ты их отпечатаешь без купидона с гирляндами? Да он сам себе не поверит, что женится, и возвратит заказ, ежели увидит только одно*М*, как у господ Дидо, знаменитостей книгопечатного дела, но в провинции их выдумки привьются разве что лет через сто. Вот оно как!

Люди великодушные обычно плохие дельцы. Давид был из тех застенчивых и нежных натур, которые страшатся споров и отступают, стоит только противнику затронуть их сердце. Возвышенные чувства и власть, которую сохранил над ним старый пьяница, обезоруживали сына в постыдном торге с отцом, тем более что он не сомневался в добрых намерениях старика, ибо сперва приписывал его ненасытную алчность привязанности печатника к своим орудиям производства. Однако ж, поскольку Жером-Никола Сешар приобрел все оборудование

от вдовы Рузо за десять тысяч франков на ассигнации, а при настоящем положении вещей тридцать тысяч франков были цифрой баснословной, сын вскричал:

– Отец, вы меня задушить хотите!

– Я?! Родитель твой! Опомнись, сынок! – воскликнул старый пьяница, воздев руки к потолку, где сушилась бумага. – Но во что же ты ценишь патент, Давид? Да знаешь ли ты, что нам дает один только «Листок объявлений», считая десять су за строку? Прошлый месяц одно это издание принесло мне доходу пятьсот франков! Сынок, открой-ка книги да взгляни-ка в них! А сколько еще дают афиши и ведомости префектуры, заказы мэрии и епископата! Ты просто ленивец, не желаешь разбогатеть. Торгуешься из-за лошадки, которая тебя вывезет в какое-нибудь превосходное поместье вроде имения Марсак.

К инвентарной описи был приложен договор об основании товарищества между отцом и сыном. Добрый отец отдавал товариществу внаймы свой дом за тысячу двести франков, хотя сам купил его за шесть тысяч ливров, и притом оставлял за собою одну из двух комнаток в мансарде. Покуда Давид Сешар не выплатит ему тридцати тысяч франков, доходы будут делиться пополам, полным и единственным владельцем типографии он станет в тот день, как расквитается с отцом. Давид взвесил в уме ценность патента, клиентуры и «Листка объявлений», не принимая во внимание оборудования; он решил, что справится, и принял условия. Отец, привыкший к крестьянской мелочности и ничего ровно не смысливший в дальновидной расчетливости парижан, был удивлен столь быстрым согласием сына.

«Уж не разбогател ли мой сын? – подумал он. – А может, он замышляет, как бы мне не заплатить?»

Заподозрив, что у сына есть деньги, старик стал выпрашивать, не может ли он ссудить отца в счет будущего? Любопытство отца пробудило недоверие в сыне. Давид замкнулся в себе. На другой день старик Сешар приказал подмастерью перенести в свою комнатку на третьем этаже всю мебель, рассчитывая отправить ее в деревню на обратных порожних повозках. Он предоставил сыну три пустые комнаты во втором этаже и ввел его во владение типографией, не дав ни сантима для расплаты с рабочими. Когда Давид попросил отца, как совладельца, принять участие в расходах, необходимых для их общего дела, старый печатник притворился несообразительным. «Да где это сказано, в придачу к типографии еще и деньги давать? – говорил он. – Моя часть уже вложена в дело». Прижатый к стене логикой сына, старик отвечал, что, когда он покупал типографию у вдовы Рузо, он сумел обернуться, не имея ни единого су в кармане. Ежели он, нищий, необразованный рабочий, вышел из положения, то ученик Дидо и подавно найдет выход. Притом Давид и деньги-то зарабатывает благодаря образованию, а кому он обязан этим образованием, как не отцу, который в поте лица своего добывал для этого средства? И теперь как раз кстати заработанные деньги пустить в оборот.

– И куда ты дел свои *получки*? – сказал он, пытаясь выяснить вопрос, не разрешенный накануне из-за скрытности сына.

– Но ведь я на что-то жил. Покупал книги, – раздраженно отвечал Давид.

– А-а! Ты покупал книги? Плохо же ты поведешь дела! Кто покупает книги, тому не пристало их печатать, – отвечал Медведь.

Давид испытал самое ужасное из унижений – унижение, причиненное нравственным падением отца; ему пришлось выслушать целый поток низких, слезливых, подлых торгашеских доводов, которыми старый скряга оправдывал свой отказ. Давид затаил душевную боль, почувствовав себя одиноким, лишенным опоры, обнаружив торгаша в отце, и из философской любознательности пожелал изучить его поглубже. Он заметил старику, что никогда не требовал от него отчета о состоянии матери. Если это состояние не могло пойти в счет платы за типографию, нельзя ли, по крайней мере, вложить его в их общее дело?

– Состояние твоей матери? – сказал старик Сешар. – Оно было в ее уме и красоте!

В этом ответе сказала вся натура старика, и Давид понял, что, настаивая на отчете, он вынужден будет затеять бесконечную разорительную и позорную тяжбу. Благородное сердце приняло бремя, уготованное ему, хотя он знал, как трудно ему будет выполнить обязательства, принятые им на себя в отношении отца.

«Буду работать, – сказал он себе. – Тяжело придется, но и старику бывало нелегко. Да и работать я буду разве не на себя самого?»

– Я тебе оставляю сокровище, – сказал отец, смущенный молчанием сына.

Давид спросил, что это за сокровище.

– Марион, – сказал отец.

Марион была дородная крестьянская девушка, незаменимая в их типографском деле: она промачивала и обрезала бумагу, выполняла всякие поручения, готовила пищу, стирала белье, разгружала повозки с бумагой, ходила получать деньги и чистила мацы. Будь Марион грамотной, старик Сешар поручил бы ей и набор.

Отец пешком пошел в деревню. Как ни был он доволен своей сделкой, скрытой под вывеской товарищества, все же его беспокоило, каким путем будет он вырывать от сына свои деньги. Вслед за тревогами, связанными с продажей, следуют тревоги из-за неуверенности в платеже. Все страсти по существу иезуитичны. Этот человек, почитавший образование полезным, старался уверить себя в облагораживающем влиянии наук. Он отдал свои тридцать тысяч франков под залог понятий о чести, привитых его сыну образованием. Давид воспитан в строгих правилах; он изойдет кровавым потом, но выполнит обязательства; знания помогут ему изыскать средства, он уже проявил свое великодушие, он заплатит! Многие отцы, поступая так, думают, что они поступают по-отечески, в чем и убедил себя наконец старый Сешар, подходя к своему винограднику на окраине Марсака, небольшой деревушки в четырех лье от Ангулема. Усадьба его с красивым домом, выстроенным прежним владельцем, расширялась из года в год начиная с 1809 года, когда старый Медведь ее приобрел. Он променял заботы о печатном станке на заботы о виноградном прессе и говаривал, что не даром издавна привержен к вину, – ему ли не знать в нем толк. В первый год жизни в деревенском уединении озабоченное лицо старика Сешара постоянно маячило над виноградными тычинами; он вечно торчал в винограднике, как прежде буквально жил в типографии. Нежданные тридцать тысяч франков опьянили его сильнее, нежели молодое сентябрьское вино, в воображении он уже держал деньги в руках и пересчитывал их. Чем менее законно доставалась ему эта сумма, тем более он желал положить ее себе в карман. Поэтому, понуждаемый тревогой, он часто прибегал из Марсака в Ангулем. Он взбирался по откосу скалы, на вершине которой раскинулся город, шел в мастерскую, чтобы посмотреть, справляется ли его сын с делами. Станки стояли на своих местах. Единственный ученик в бумажном колпаке отчищал мацы. Старый Медведь слышал скрип станка, печатавшего какое-нибудь извещение, он узнавал свои старинные шрифты, он видел сына и фактора, каждого в своей клетке, читавших книги, которые Медведь принимал за корректуры. Отобедав с Давидом, он возвращался в Марсак в тревожном раздумье. Скупость, как и любовь, обладает даром провидения грядущих опасностей, она их чувствует, она как бы торопит их наступление. Вдали от мастерской, где станки действовали на него завораживающе, перенося в те дни, когда он наживал состояние, виноградарь начинал подмечать в сыне тревожные признаки бездельности. Фирма «Братья Куэнте» страшила его, он видел, как она затмевает фирму «Сешар и сын». Короче, старик чувствовал веяние несчастья. Предчувствие не обманывало его: беда нависла над домом Сешара. Но у скупцов свой бог. И по непредвиденному стечению обстоятельств этот бог должен был отвалить в мощну пьяницы весь барыш от его ростовщической сделки с сыном. Но почему же погибала типография Сешара, несмотря на все условия для процветания? Равнодушный к клерикальной реакции в правящих кругах, вызванной Реставрацией, но равно безразличный и к судьбам либерализма, Давид хранил опаснейший нейтралитет в вопросах политических и религиозных. Он жил в то время, когда

провинциальные коммерсанты, если они желали иметь заказчиков, обязаны были придерживаться определенных мнений и выбирать между либералами и роялистами. Любовь, закрывшаяся в сердце Давида, его научные интересы, благородство его натуры не позволили развиться в нем алчности к наживе, которая изобличает истого коммерсанта и которая могла бы побудить его изучить все особенности провинциальной и парижской промышленности. Оттенки, столь резкие в провинции, стусеиваются в мощном движении Парижа. Братья Куэнте пели в один голос с монархистами, соблюдали посты, посещали собор, обхаживали духовенство и первые переиздали книги духовного содержания, как только в них появился спрос. Таким путем Куэнте опередили Давида Сешара в этой доходной отрасли и вдобавок оклеветали его, обвинив в вольнодумстве и безбожии. Как можно, говорили они, иметь дело с человеком, у которого отец – сентябрист, пьяница, бонапартист, старый скряга и притом рано или поздно оставит сыну груды золота? А они бедны, обременены семьей, тогда как Давид холост и будет баснословно богат; не мудрено, что он потакает своим прихотям, и так далее. Под влиянием обвинений, возводимых против Давида, префектура и епископат передали наконец все свои заказы братьям Куэнте. Вскоре эти алчные противники, ободренные беспечностью соперника, основали второй «Листок объявлений». Работа старой типографии свелась к случайным заказам, а доход от объявлений уменьшился наполовину. Разбогатев на издании церковных требников и книг религиозного содержания, принесших солидную прибыль, фирма Куэнте вскоре предложила Сешарам продать «Листок» – короче, предоставить им исключительное право на департаментские объявления и судебные публикации. Как только Давид сообщил эту новость отцу, старый виноградарь, и без того встревоженный успехами фирмы Куэнте, полетел из Марсака на площадь Мюрье с быстротою ворона, почуявшего трупы на поле битвы.

– Предоставь мне столкнуться с Куэнте, не путайся в это дело, – сказал он сыну.

Старик быстро разгадал, что именно прельщает Куэнте, он испугал их своей прозорливостью. Сын его собирается сделать глупость, он хочет это предотвратить, сказал он. «На что мы будем нужны нашим заказчикам, ежели уступим «Листок»? Стряпчие, нотариусы, все купечество в Умо – либералы; Куэнте думали утопить Сешаров, обвинив их в либерализме, а сами бросили им якорь спасения – ведь объявления либералов останутся за Сешарами! Продать «Листок»! Стало быть, надобно продать и все оборудование типографии, и патент».

Он запросил с Куэнте шестьдесят тысяч франков – стоимость типографии: он не желает разорить сына, он любит, он защищает его. Виноградарь ссылался на сына, как крестьяне ссылаются на жен: сын соглашался или не соглашался, смотря по предложениям, которые старик вырывал одно за другим у Куэнте, и он заставил их, правда не без труда, заплатить за «Шарантский листок» двадцать две тысячи франков. Давид же обязался впредь не издавать никакой газеты под угрозой тридцати тысяч неустойки. Сделка была равносильна самоубийству типографии Сешара, но это мало заботило винодела. Грабеж всегда влечет за собою убийство. Старик рассчитывал прибрать к рукам эту сумму в счет уплаты за пай в товариществе; а ради того, чтобы получить деньги, он охотно отдал бы и Давида в придачу, тем более что этот несносный сын имел право на половину нечаянного сокровища. В возмещение убытков великодушный отец уступал сыну типографию, не отступаясь, однако ж, от пресловутых тысячи двухсот франков за наем дома. После продажи «Листка» братьям Куэнте старик редко навещался в город: он ссылался на свой преклонный возраст, но истинная причина была в том, что теперь его мало заботила типография, – ведь она ему уже не принадлежала! Однако ж он не мог отрешиться от старинной привязанности к своим станкам. Когда дела приводили его в Ангулем, чрезвычайно трудно было решить, что более влекло старика заглянуть в свой дом – деревянные ли станки или сын, которому он «для порядка» напоминал о плате за помещение. Его бывший фактор, перешедший теперь к Куэнте, разгадал подоплеку этого отцовского великодушия: хитрая лиса, говорил он, сохраняет таким путем за собою право вмешиваться в дела сына, ибо в силу долга, который накапливается за наем помещения, он становится главным его займодавцем.

Беспечность Давида Сешара имела свои причины, вполне обрисовывающие характер этого молодого человека. Через несколько дней после того, как он вступил во владение родительской типографией, он встретил своего школьного товарища, в ту пору крайне нуждавшегося. Товарищ Давида Сешара, молодой человек двадцати одного года, по имени Люсьен Шардон, был сыном бывшего военного лекаря республиканской армии, уволенного в отставку после ранения. Природа создала Шар-дона-отца химиком, а случай сделал его аптекарем в Ангулеме. Смерть настигла его в самом разгаре подготовительных работ, необходимых для осуществления прибыльного изобретения, которому он посвятил многие годы ученых исследований. Он хотел найти средство против подагрических заболеваний. Подагра – болезнь богачей, а богачи готовы дорого заплатить, чтобы вернуть утраченное здоровье. Поэтому аптекарь и поставил себе цель – решить эту задачу, хотя его волновали и многие другие проблемы.

Покойный Шардон, когда ему пришлось выбирать между наукой и практикой, понял, что только наука может его обеспечить; итак, он изучил причины болезни и в основу лечения положил известный режим, приноровив его к особенностям каждого организма. Он умер в Париже, приехав туда хлопотать о признании своего изобретения Академией наук, и ему не довелось воспользоваться плодами своих трудов. Будучи уверен, что он разбогатеет, аптекарь ничего не жалел ради образования сына и дочери, и содержание семьи поглощало все доходы от аптеки. Итак, он не только оставил детей в нищете, но, на их несчастье, воспитал их в надежде на блестящее будущее, которая угасла вместе с ним. Знаменитый Деппен, лечивший его, был при нем до последней минуты и видел, как он мучился в бессильной ярости. Честолюбие бывшего лекаря объяснялось его страстной любовью к жене, последней представительнице рода де Рюампре, которую он чудом спас от эшафота в 1793 году. Не спрашивая согласия девушки на подобный обман, он заявил, что она беременна, и выиграл время. Заслужив некоторое право жениться на ней, он и женился, несмотря на их бедность. Их дети, как и все дети любви, получили в наследство лишь дивную красоту матери – дар подчас роковой, если ему сопутствует нищета. Обманутые надежды, непосильный труд, вечные заботы, угнетавшие г-жу Шардон, не пощадили ее красоты, а неотвязная нужда изменила привычки; но несчастье не сломило стойкости матери и детей. Бедная вдова продала аптеку, помещавшуюся на Главной улице Умо, самого большого предместья Ангулема. Деньги, вырученные от продажи аптеки, обеспечили ренту в триста франков, но этой суммы было недостаточно даже для нее одной; однако ж мать с дочерью примирились со своим положением и без ложного стыда взялись за работу по найму. Мать ухаживала за роженицами, и мягкость ее обхождения была причиной того, что г-жу Шардон предпочитали другим в богатых домах, где она и жила, ничего не стоя детям, да притом еще зарабатывала двадцать су в день. Желая уберечь сына от горестного сознания, что его мать занимает такое низкое положение в обществе, она стала именоваться г-жой Шарлоттой. Нуждавшиеся в ее услугах обращались к г-ну Постэлю, преемнику г-на Шардона. Сестра Люсьена работала у почтенной женщины, которая пользовалась уважением в Умо, их соседки, г-жи Приер, принимавшей в стирку тонкое белье, и зарабатывала около пятнадцати су в день. Она была старшей над мастерицами и занимала в прачечной как бы особое положение, что несколько подымало ее над средой гризеток. Скудные плоды их работы вместе с рентой г-жи Шардон в триста ливров составляли около восьмисот франков в год, на которые всем троим приходилось жить, одеваться и платить за квартиру. При самой строгой бережливости семье было недостаточно этой суммы, почти полностью уходившей на одного Люсьена. Г-жа Шардон и ее дочь Ева верили в Люсьена, как верила в Магомета его жена; в своем самопожертвовании во имя его будущего они не знали предела. Бедная семья жила в Умо, в квартире, снятой за чрезвычайно скромную плату у преемника г-на Шардона и помещавшейся в глубине заднего двора, над лабораторией. Люсьен занимал убогую комнату в мансарде. Под влиянием отца, пламенного почитателя естественных наук, увлекшего и его

на этот путь, Люсьен стал одним из блестящих воспитанников Ангулемского коллежа, где он обучался в третьем классе, когда Сешар кончал курс.

Когда случай свел двух школьных товарищей, Люсьен, устав пить из грубой чаши нищеты, был накануне одного из тех решений, к которым прибегают в двадцать лет. Сорок франков в месяц, великодушно предложенные ему Давидом, вызвавшимся обучить его ремеслу фактора, хотя фактор был ему совершенно не нужен, спасли Люсьена от отчаянья. Узы школьной дружбы, теперь возобновленной, вскоре окрепли благодаря сходству их судьбы и различию натур. Они были одарены многими талантами и тем светлым умом, который возносит человека на высоты духа, и сознавали, что оба брошены на дно общества. Несправедливость судьбы связала их крепкими узами. Притом они оба разными путями пришли к поэзии. Предназначавшийся к умственной деятельности и высоким трудам в области естественных наук, Люсьен пламенно мечтал о литературной славе; между тем Давид, натура созерцательная и предрасположенная к поэзии, чувствовал влечение к точным наукам. Обмен ролями породил некое духовное братство. Люсьен не замедлил поделиться с Давидом широкими замыслами, которые унаследовал от отца, мечтавшего о приложении науки к промышленности, а Давид указал Люсьену новые пути, которыми тот должен войти в литературу, чтобы составить себе имя и состояние. Дружба молодых людей в короткое время обратилась в страстную привязанность, какая только может возникнуть на исходе юности. Вскоре Давид увидел прекрасную Еву и влюбился в нее, как влюбляются натуры, склонные к мечтательности и созерцанию. Слова литургии: «*Et nunc et semper et in secula seculorum*»⁵ – девиз возвышенных безвестных поэтов, чьи великолепные эпические поэмы зарождаются и погибают в двух любящих сердцах. Когда влюбленный проник в тайну надежд, возлагаемых на прекрасное поэтическое дарование Люсьена его матерью и сестрой, когда их слепое поклонение передалось и ему, он понял, как сладостна близость с возлюбленной, если разделяешь с нею ее жертвы и упования. В Люсьене Давид обрел брата. Подобно тому, как крайние правые желают быть больше роялистами, чем сам король, так Давид превзошел и мать и сестру верой в гениальность Люсьена и баловал его, как мать балует ребенка. Однажды, когда они испытывали особенно острую нужду в деньгах, связывавшую им руки, и, подобно всем молодым людям, обсуждали различные способы быстрого обогащения и тщетно отрясали все плодовые деревья, уже обобранные теми, кто пришел ранее, Люсьен вспомнил, что его отца занимали две задачи: г-н Шардон говорил, что можно вдвое понизить стоимость сахара, применив при его производстве один новый химический состав, и вдвое удешевить бумагу, употребив вывезенное из-за океана дешевое растительное сырье, сходное с тем сырьем, которым пользуются китайцы. Давид, понимая значение последнего вопроса, уже обсуждавшегося у Дидо, ухватился за эту мысль, сулившую богатство, и стал смотреть на Люсьена как на благодетеля, перед которым он вечно будет в неоплатном долгу.

Всякому понятно, как трудно было молодым людям, увлеченным высокими идеями и жившим внутренней жизнью, управлять типографией. Далеко им было до братьев Куэнте – печатников, книгоиздателей епископата, владельцев «Шарантского листка», отныне единственной газеты в департаменте, – которым их типография приносила пятнадцать – двадцать тысяч дохода: типография Сешара-сына едва выручала триста франков в месяц, из которых надо было платить жалованье фактору и Марион, вносить налоги, оплачивать помещение; Давиду оставалось не более сотни франков в месяц. Люди деятельные и предприимчивые приобрели бы новые шрифты, купили бы металлические станки, привлекли бы парижских книгоиздателей, печатая их заказы по сходной цене; но хозяин и фактор, поглощенные своими мечтами, довольствовались заказами немногих оставшихся клиентов. Братья Куэнте наконец разгадали нрав и склонности Давида и уже не порочили его; напротив, деловая сметливость подсказала им, что в их интересах сохранить эту захиревшую типографию и поддерживать ее

⁵ И ныне, и присно, и во веки веков(лат.).

бренное существование, лишь бы она не попала в руки какого-нибудь опасного соперника; они даже стали направлять туда мелкие заказы, так называемые акцидентные работы. Итак, Давид Сешар, сам того не подозревая, обязан был своим существованием, в смысле коммерческом, единственно дальновидности своих конкурентов. Куэнте, чрезвычайно довольные манерой Давида, как они выражались, действовали, казалось, в отношении Давида со всей прямоотой и честностью, но на самом деле они поступали, как компании почтовых сообщений, которые создают себе мнимую конкуренцию во избежание действительной.

Наружный вид дома Сешара находился в соответствии с отвратительной скупостью, царившей в нем, ибо старый Медведь ни разу его не подновлял. Дождь, солнце, ненастье всех четырех времен года сообщили наружной двери сходство с корявым древесным стволом — настолько она покособилась, была изборождена трещинами. Фасад, несладко выведенный из кирпича и камня, казалось, накренился под тяжестью старой черепичной кровли, обычной на юге Франции. Окна с прогнившими рамами были снабжены, как водится в этих краях, тяжелыми ставнями с надежными болтами. Трудно было найти в Ангулеме дом более ветхий, державшийся лишь крепостью цемента. Вообразите мастерскую, освещенную с двух концов, темную посредине, стены, испещренные объявлениями, потемневшие внизу, оттого что рабочие за тридцать лет изрядно залоснили их своими спинами, ряды веревок под потолком, кипы бумаги, допотопные станки, груды камней для прессования смоченной бумаги, ряды наборных касс и в глубине две клетки, где сидели, каждый у себя, хозяин и фактор, и вы поймете, как жили оба друга.

В 1821 году, в первые дни мая месяца, Давид и Люсьен стояли подле широкого окна, выходившего во двор; было около двух часов пополудни, и четверо-пятеро рабочих ушли из мастерской обедать. Заметив, что ученик запирает наружную дверь с колокольчиком, хозяин повел Люсьена во двор, словно запах бумаги, краски, станков и старого дерева был ему невыносим. Они сели в беседке, откуда могли видеть каждого, кто шел в мастерскую. Лучи солнца, игравшие в листве беседки из виноградных лоз, ласкали поэтов, окружая их сиянием, словно ореолом. Несходство этих двух характеров и двух обликов, очевидное при их сопоставлении, проступало в этот миг так ярко, что могло бы пленить кисть великого живописца. Давид был того мощного сложения, каким природа наделяет существа, предназначенные для великой борьбы, блистательной или сокроенной. Широкая грудь и могучие плечи были в гармонии с тяжелыми формами всего его тела. Толстая шея служила опорой для головы с шапкой густых черных волос, обрамлявших смуглое, цветущее, полное лицо, которое при первом взгляде напоминало лица каноников, воспетых Буало, но, всмотревшись, вы открыли бы в складе толстых губ, в ямке подбородка, в лепке крупного широкого носа с впадинкой на конце — и особенно в глазах! — неугасимый огонь единой любви, прозорливость мыслителя, пламенную печаль души, способной охватить горизонт от края и до края, проникнув во все его извивы, и легко пресыщающейся самыми высокими наслаждениями, едва на них падает свет анализа. Если это лицо и озарялось блистанием гения, готового воспарить, все же близ вулкана приметен был и пепел: надежда угасала от глубокого сознания своего общественного небытия, в которое безвестное происхождение и недостаток средств ввергает столько недюжинных умов. Рядом с бедным печатником, которому претило его занятие, все же столь родственное умственному труду, рядом с этим Силеном, искавшим опоры в самом себе и пившим медленными глотками из чаши познания и поэзии, чтобы в опьянении забыть о горестях провинциальной жизни, стоял Люсьен в пленительной позе, избранной ваятелями для индийского Вакха. В чертах этого лица было совершенство античной красоты: греческий лоб и нос, женственная бархатистость кожи, глаза, казалось, черные — так глубока была их синева, — глаза, полные любви и чистотой белка не уступавшие детским глазам. Эти прекрасные глаза под дугами бровей, точно рисованными китайской тушью, были осенены длинными каштановыми ресницами. На щеках блеснул шелковистый пушок, по цвету гармонизировавший с волнистыми светлыми воло-

сами. Несравненной нежностью дышала золотистая белизна его висков. Незыблемое благородство было запечатлено на коротком, округлом подбородке. Улыбка опечаленного ангела блуждала на коралловых губах, особенно ярких из-за белизны зубов. У него были руки аристократа, руки изящные, одно движение которых заставляет мужчин повиноваться, а женщины любят их целовать. Люсьен был строен, среднего роста. Взглянув на его ноги, можно было счесть его за переодетую девушку, тем более что строение бедер у него, как и у большинства лукавых, чтобы не сказать коварных, мужчин было женское. Эта примета, редко обманывающая, оправдывалась и на Люсьене; случалось, что, критикуя нравы современного общества, он, увлекаемый беспокойным умом, в суждениях своих вступал на путь дипломатов, по своеобразной развращенности полагающих, что успех оправдывает все средства, как бы постыдны они ни были. Одно из несчастий, которым подвержены люди большого ума, – это способность невольно понимать все, как пороки, так и добродетели.

Оба друга судили общество тем более неумолимо, что они занимали в нем самое низкое место, ибо люди непризнанные мстят миру за унижительность своего положения высокомерием суждений. И отчаяние их было тем горше, чем стремительнее они шли навстречу неизбежной судьбе. Люсьен много читал, многое сравнивал. Давид много думал, о многом размышлял. Несмотря на свое крепкое, пышущее здоровьем тело, печатник был человек меланхолического и болезненного душевного склада: он сомневался в себе, между тем как Люсьен, одаренный умом смелым, но непостоянным, был отважен, вопреки своему слабому, почти хилому, но полному женственной прелести сложению. Люсьен был по природе истым гасконцем, дерзким, смелым, предприимчивым, склонным преувеличивать доброе и преуменьшать дурное; его не страшил проступок, если это сулило удачу, и он не гнушался порока, если тот служил ступенью к цели. Наклонности честолюбца все же умерялись прекрасными мечтаниями пылкой юности, всегда подсказывающей благородные поступки, к которым прежде всего и прибегают люди, влюбленные в славу. Он покамест боролся лишь со своими желаниями, а не с тяготами жизни, со своими наклонностями, а не с человеческой низостью, являющей гибельный пример для неустойчивых натур. Давид, глубоко очарованный блестящим умом Люсьена, восторгался им, хотя ему и случалось предостерегать поэта от заблуждений, в которые тот впадал по своей галльской горячности. Этот честный человек по характеру был застенчив, вопреки своему крепкому телосложению, но не лишен настойчивости, свойственной северянам. Встречая препятствия, он твердо решал преодолеть их и не падал духом; и если ему была свойственна непоколебимость добродетели, подлинно апостольской, все же его стойкость сочеталась с неиссякаемой снисходительностью. В этой уже давней дружбе один любил до идолопоклонства, и это был Давид. Люсьен повелевал, словно женщина, уверенная, что она любима. Давид повиновался с радостью. Физическая красота давала Люсьену право первенства, и Давид признавал превосходство друга, считая себя неуклюжим тяжкодумом.

«Волу суждено на поле трудиться, беспечная жизнь уготована птице, – говорил про себя типограф. – Вол – это я, орел – Люсьен».

Итак, прошло почти три года с той поры, как друзья связали свои судьбы, столь блистательные в мечтах. Они читали великие произведения, появившиеся на литературном и научном горизонте после восстановления мира: творения Шиллера, Гёте, лорда Байрона, Вальтера Скотта, Жан-Поля, Берцелиуса, Дэви, Кювье, Ламартина и других. Они загорались от этих очагов мысли, они упражнялись в незрелых и заимствованных сочинениях, то отбрасывая работу, то сызнова принимаясь за нее с горячностью. Они трудились усердно, не истощая неисчерпаемых сил молодости. Одинаково бедные, но вдохновляемые любовью к искусству и науке, они забывали о повседневных нуждах в стремлении заложить основы грядущей своей славы.

– Люсьен, знаешь, что я получил из Парижа? – сказал типограф, вынимая из кармана томик в восемнадцатую долю листа. – Послушай!

Давид прочел, как умеют читать поэты, идиллию Андре Шенье, озаглавленную «Неэра», затем идиллию «Больной юноша», потом элегию о самоубийце, еще одну, в античном духе, и два последних «Ямба».

– Так вот что такое Андре Шенье! – восклицал Люсьен. – Он внушает отчаяние, – повторил он в третий раз, когда Давид, чересчур взволнованный, чтоб продолжать чтение, протянул ему томик стихов. – Поэт, обретенный поэтом, – сказал он, взглянув на имя, поставленное под предисловием.

– И Шенье, написав такие стихи, – заметил Давид, – мог думать, что не создал ничего достойного печати!

Люсьен в свой черед прочел эпический отрывок из «Слепца» и несколько элегий. Когда он дошел до строк:

Если это не счастье, так что же? –

он поцеловал книгу, и друзья заплакали, потому что они оба любили до самозабвения. Виноградная листва расцвела, стены старого дома, покосившиеся, с выщербленным камнем, изборозжденные трещинами, приняли пластические формы, где канелюры, рустика, барельефы сочетались с фигурным орнаментом какой-то волшебной архитектуры. Фантазия рассыпала цветы и рубины в мрачном дворике. Камилла Андре Шенье стала для Давида его обожаемой Евой, а для Люсьена – знатной дамой, о которой он вздыхал. Поэзия отряхнула величественные полы своей звездной мантии над мастерской, где, казалось, паясничали типографские Обезьяны и Медведи. Пробыло пять; но друзья не чувствовали ни голода, ни жажды; жизнь была для них золотым сном, все сокровища земли лежали у их ног. Для них открылся на небосводе тот голубой просвет, на который указывает перст Надежды тем, у кого жизнь тревожна и кому она, подобно сирене, напевает: «Спешите, летите, спасайтесь от зол там, в лазурной, серебряной, золотой дали!..» В это время стеклянная дверь отворилась и ученик, по имени Серизе, парижский мальчишка, привезенный Давидом в Ангулем, вышел из мастерской во двор в сопровождении незнакомца, которому он указал на двух друзей, и тот, раскланиваясь, подошел к ним.

– Сударь, – сказал он Давиду, извлекая из кармана толстую тетрадь, – я желал бы напечатать вот этот труд. Не откажите в любезности сказать, во что это обойдется.

– Мы, сударь, не печатаем такие солидные рукописи, – отвечал Давид, не взглянув на тетрадь. – Обратитесь к господам Куэнте.

– Но у нас есть очень красивый шрифт, вполне подходящий, – возразил Люсьен, взяв рукопись. – Прошу вас, зайдите завтра и оставьте нам вашу рукопись. Мы подсчитаем, во что обойдется напечатать ее.

– Не с господином ли Люсьеном Шардоном имею честь?..

– Да, сударь, – отвечал фактор.

– Я счастлив, сударь, – сказал автор, – познакомиться с молодым поэтом, которому прочат блестящую будущность. Мне посоветовала зайти сюда госпожа де Баржетон.

Люсьен, услышав это имя, покраснел и пробормотал несколько слов, чтобы выразить благодарность г-же де Баржетон за ее любезное внимание. Давид заметил румянец и смущение друга и отошел, предоставив ему беседовать с провинциальным дворянином, автором статьи о разведении шелковичных червей, из тщеславия желавшим ее напечатать, чтобы его коллеги по Земледельческому обществу могли ее прочесть.

– Послушай, Люсьен, – сказал Давид, когда дворянин ушел, – уж не влюблен ли ты в госпожу де Баржетон!

– Без памяти!

– Но живи она в Пекине, а ты в Гренландии, расстояние разобщало бы вас менее, нежели сословные предрассудки.

– Воля любящих все побеждает, – сказал Люсьен, потупя глаза.

– Ты забудешь нас, – отвечал робкий обожатель прекрасной Евы.

– Напротив! Как знать, не пожертвовал ли я ради тебя возлюбленной? – вскричал Люсьен.

– Что ты хочешь сказать?

– Вопреки любви, вопреки интересам, побуждающим меня посещать ее дом, я сказал ей, что впредь не переступлю ее порога, ежели человек, превосходящий меня талантами, с большим будущим, ежели Давид Сешар, мой брат, мой друг, не будет у нее принят. Дома меня ожидает ответ. И пускай вся здешняя знать приглашена нынче к госпоже де Баржетон слушать мои стихи, ежели ответ будет отрицательный, нога моя туда не ступит.

Давид крепко пожал Люсьену руку, смахнул слезу. Пробило шесть.

– Ева, верно, тревожится. Прощай! – вдруг сказал Люсьен.

Он ушел, оставив Давида во власти волнений, столь остро ощущаемых лишь в этом возрасте и особенно в том положении, в каком находились два юных лебедя, которым провинциальная жизнь еще не подрезала крыльев.

– Золотое сердце! – вскричал Давид, провожая взглядом Люсьена, покуда тот не скрылся за дверью мастерской.

Люсьен возвращался в Умо по прекрасному бульвару Болье, через улицу Минаж и ворота Сен-Пьер. Если он избрал столь долгий путь, вы поймете, что, стало быть, тот путь лежал мимо дома г-жи де Баржетон. Он испытывал такое блаженство, проходя мимо окон этой женщины, что тому два месяца, как изменил кратчайшему пути в Умо через ворота Пале.

Под купами деревьев Болье он задумался о том расстоянии, которое разделяет Ангулем и Умо. Местные нравы воздвигли нравственные преграды, труднее преодолимые, чем крутые склоны, по которым спускался Люсьен. Юный честолюбец, недавно получивший доступ в особняк Баржетонов, перекинув воздушный мост славы между городом и предместьем, тревожился, ожидая приговора своей повелительницы, как фаворит, рискнувший превысить свою власть, опасается немилости. Слова эти должны показаться странными тем, кому не доводилось наблюдать особенности нравов в городах, которые делятся на верхний город и нижний; но тут необходимо войти в некоторые объяснения, обрисовывающие Ангулем, тем более что они позволят понять г-жу де Баржетон, одно из главных действующих лиц нашей истории.

Ангулем – древний город, построенный на вершине скалы, которая напоминает сахарную голову и высится над лугами, где течет Шаранта. Скала примыкает со стороны Перигора к узкому плоскогорью, которое она круто замыкает собою близ дороги из Парижа в Бордо, образуя своеобразный мыс, очерченный тремя живописными лощинами. О значении этого города в эпоху религиозных войн свидетельствуют земляной вал, ворота и развалины крепости на островерхой скале. По своему расположению он некогда представлял собою стратегический пункт, равно важный и для католиков, и для кальвинистов; но то, что встарь было его силой, ныне составляет его слабое место: крепостные валы и крутые склоны, мешая ему расти в сторону Шаранты, обрекли его на самый губительный застой. Во времена, о которых повествует наша история, правительство пыталось расширить город в сторону Перигора, проложив улицы вдоль плоскогорья, выстроив там здания префектуры, морского училища, военных учреждений. Но торговля уже ранее избрала иное место. Предмestье Умо издавна разрослось, как семейство грибов, у подножия скалы и по берегам реки, вдоль которой протекает большая дорога из Парижа в Бордо. Всем известны знаменитые ангулемские писчебумажные фабрики, обосновавшиеся три века назад на берегах Шаранты и ее притоков, богатых водопадами. Государство построило в Рюэле свой самый крупный оружейный завод для вооружения флота. Транспортные конторы, почта, постоянные дворы, каретные мастерские, компании почтовых дилижансов, все промыслы, живущие от проезжей дороги и реки, сосредоточились у

подножия Ангулема, избегнув тем самым трудностей подъема в гору. Естественно, что кожевенные заводы, прачечные, всякие предприятия, нуждающиеся в воде, облюбовали берега Шаранты; затем винные погреба, склады сырья, доставлявшегося водным путем, все посреднические конторы сгруппировались вдоль речных берегов. Итак, предместье Умо выросло в богатый промышленный город, второй Ангулем, которому завидовал Ангулем верхний, где остались присутственные места, управление епархией, суд, аристократия. Однако ж Умо, несмотря на свою деловитость и возрастающее значение, все же был только придатком к городу Ангулему. Наверху – знать и власть, внизу – купечество и деньги: два постоянно и повсюду враждующих общественных слоя; и трудно решить, который из двух городов питал большую ненависть к сопернику. Реставрация за девять лет своего существования обострила положение, достаточно мирное во времена Империи. Большинство домов в верхнем Ангулеме занимают либо дворянские семьи, либо старинные буржуазные фамилии, которые живут доходами и составляют своего рода коренное население, куда чужеземцам доступ закрыт. Надобно было прожить тут два столетия или породниться с местной родовитой семьей, чтобы потомку выходцев из соседней провинции довелось проникнуть в этот замкнутый круг, и все же во мнении коренных жителей он вечно будет пришельцем. Префекты, начальники управления государственными сборами, административные власти, сменявшиеся за последние сорок лет, тщетно пытались приручить эти старинные семьи, гнездившиеся на своей скале, как нелюдимые вороны: местная знать посещала их балы и обеды, но принимать у себя упорно отказывалась. Насмешливые, злоязычные, завистливые, скупые, эти семьи роднятся между собою и, образуя замкнутую касту, не дают никому ни входа, ни выхода; им неведомы измышления современной роскоши; для них послать детей в Париж – все равно что обречь их на гибель. Такая чрезмерная осторожность рисует отсталые нравы и обычаи этих семейств, зараженных тупым роялизмом, скорее закоснелых в ханжестве, нежели религиозных, и столь же далеких от жизни, как их город и его скала. Ангулем, однако ж, славится в ближайших провинциях как город, где получают хорошее воспитание. Соседние города посылают своих девиц в ангулемские пансионы и монастыри. Легко понять, насколько кастовый дух влияет на чувства, разъединяющие Ангулем и Умо. Купечество богато, дворянство обычно бедно. Они мстят друг другу презрением, равным с обеих сторон. Ангулемские горожане вовлечены в эти распри. Купец из верхнего города говорит с неподражаемым выражением о торговце из предместья: «Он из Умо!» Преднамереваясь дворянству особое положение во Франции и подав ему надежды, не осуществимые без общего переворота, Реставрация нравственно разъединила Ангулем и Умо более, нежели разъединяло их расстояние физическое. Дворянское общество, связанное в то время с правительственными кругами, заняло тут положение более исключительное, чем где-либо во Франции. Житель Умо напоминал в достаточной степени парию. Отсюда – та глухая и глубокая ненависть, что придавала грозное единодушие восстанию 1830 года и разрушила основы прочного общественного строя во Франции. Спесь придворной знати отвратила от трона провинциальное дворянство, равно как последнее отвратило от себя буржуазию, постоянно уязвляя ее тщеславие. Итак, появление в гостинице г-жи де Баржетон сына аптекаря, обывателя из Умо, было своего рода революцией. Кто в том повинен? Ламартин и Виктор Гюго, Казимир Делавинь и Каналис, Беранже и Шатобриан, Вильмен и г-н Эньян, Суме и Тиссо, Этьенн и Давриньи, Бенжамен Констан и Ламенне, Кузен и Мишо – короче, и старые и молодые литературные знаменитости, как либералы, так и роялисты. Г-жа де Баржетон любила искусство и литературу – причуда вкуса, сумасбродство, о котором открыто сокрушался весь Ангулем и которое необходимо объяснить, обрисовав жизнь этой женщины, рожденной для славы, но по вине роковых обстоятельств оставшейся в неизвестности и своим влиянием на Люсьена предопределившей его судьбу.

Господин де Баржетон был правнуком бордоского синдика, по имени Миро, возведенного в дворянство при Людовике XIII за долголетнюю службу. При Людовике XIV его сын, ставший Баржетоном, был офицером дворцовой стражи и так выгодно женился, что при Людо-

вике XV его сын именовался уже просто г-ном де Баржетоном. Этот г-н де Баржетон, внук г-на Миро-синдика, в такой степени вошел в роль истого дворянина, что промотал все родовое состояние и тем самым положил предел благоденствию своей семьи. Два его брата, двоюродные деды нынешнего Баржетона, опять занялись торговлей, и фамилия Миро по сию пору встречается среди бордоских купцов. Так как земля Баржетонов в Ангумуа, находившаяся в ленной зависимости от феодального удела Ларошфуко, равно как и ангулемский дом, именуемый *дворцом* Баржетонов, были неотчуждаемой собственностью, внук г-на де Баржетона, по прозвищу *Мот*, унаследовал оба эти владения. В 1789 году он лишился права взимать феодальные поборы и жил лишь доходом с земли, приносившей ему около десяти тысяч ливров в год. Если бы его дед последовал славному примеру Баржетона I и Баржетона II, то Баржетон V, которого подобало бы именовать *Немым*, был бы маркизом де Баржетоном, он породнился бы с каким-либо знатным родом и, как многие, стал бы герцогом и пэром, между тем в 1805 году он счел весьма для себя лестным брак с девицей Мари-Луизой-Анаис де Негрпелис, дочерью дворянина, который был всеми забыт в глуши своего имени, хотя и принадлежал к младшей ветви одного из самых древних родов южной Франции. Один из Негрпелисов был в числе заложников Людовика Святого; притом глава старшей ветви носил славное имя д'Эспаров, приобретенное им при Генрихе IV благодаря браку с наследницей этого рода. Названный же нами дворянин, младший представитель младшей ветви, жил на доходы с имени жены, небольшого поместья близ Барбезье, в котором он хозяйничал на славу, сам продавал пшеницу на рынке, сам выгонял водку, пренебрегая насмешками, копил деньги и время от времени округлял свои угоды. Благодаря стечению обстоятельств, достаточно удивительных в глухой провинции, у г-жи де Баржетон развился вкус к музыке и литературе. Во время революции некий аббат Ниолан, лучший ученик аббата Роз, укрылся в маленьком замке д'Эскарба со всем своим композиторским багажом. Он щедро оплатил гостеприимство старого дворянина, занявшись воспитанием его дочери Анаис, или, как ее называли, Наис; и если бы не этот случай, девочка была бы предоставлена самой себе или, что было бы большим несчастьем, какой-нибудь распутной служанке. Аббат оказался не только музыкантом, но и знатоком литературы, он владел итальянским и немецким. Итак, он обучил девицу де Негрпелис этим двум языкам и контрапункту; он познакомил ее с выдающимися произведениями французской, итальянской и немецкой литературы, разучивал с ней творения всех великих композиторов. Наконец, чтобы заполнить досуг и одиночество, на которое их обрекли политические события, он обучил ее греческому и латинскому языкам, да и из естественных наук помог усвоить начатки. Присутствие матери ничего не изменило в этом мужском воспитании, которое получила девушка, и без того чересчур независимая благодаря жизни в деревне. Аббат Ниолан, натура поэтическая и восторженная, был особенно примечателен тем артистическим складом ума, который, обладая многими похвальными качествами, возвышается над мещанскими предрассудками свободой суждения и широтой взглядов. Если свет и прощает дерзновенную смелость мысли ради ее своеобразия и глубины, то в частной жизни это свойство, порождающее уклонение от принятого, могло быть признано вредоносным. Аббат не был лишен темперамента, его идеи действовали заразительно на юную девицу, чья восторженность, обычная в этом возрасте, еще усиливалась благодаря деревенскому уединению. Аббат Ниолан сообщил своей ученице присущую ему независимость мысли и смелость суждений, не подумав о том, что эти качества, столь нужные мужчине, обратятся в недостаток у женщины, предназначенной к скромной участи матери семейства. Хотя аббат постоянно внушал своей ученице, что учтивость и скромность свидетельствуют о подлинной просвещенности человека, однако ж девица де Негрпелис преисполнилась высокого о себе мнения и прониклась великим презрением к человечеству. Окруженная людьми ниже ее стоящими и всегда готовыми ей услужить, она усвоила надменность знатных дам, не позаимствовав лукавой прелести их обхождения. Избалованная бедным аббатом, который во всем льстил ее тщеславию, ибо он восхищался в ней самим собою, как

автор восхищается своим творением, она, к несчастью, не встречала никого, с кем могла бы себя сравнить, и потому не имела случая составить о себе правильное мнение. Отсутствие общества – вот отрицательная сторона жизни в деревне. Не имея нужды приносить маленькие жертвы в угоду требованиям хорошего тона, как в одежде, так и в манере держать себя, привыкаешь к распушенности. А это уродует и дух, и тело. Вольнодумство девицы де Негрпелис, не стесненное светскими условностями, проявлялось и в ее манерах, и в ее наружности: у нее был слишком вольный вид, может быть и привлекательный с первого взгляда благодаря его своеобразию, но это к лицу лишь искательницам приключений. Таким образом, воспитание Наис, шероховатости которого сгладились бы в высшем обществе, в Ангулеме грозило представить ее в смешном виде, как только поклонники откажутся боготворить недостатки, очаровательные лишь в юности. Что касается до г-на де Негрпелиса, он пожертвовал бы всеми книгами дочери, если бы этим можно было спасти заболевшего быка: он был так скуп, что не дал бы ей и двух лишних лиаров сверх дохода, на который она имела право, хотя бы речь шла о какой-либо ничтожной затрате, совершенно необходимой для ее образования. Аббат умер в 1802 году, до замужества своей дорогой питомицы, замужества, от которого он, несомненно, ее предостерег бы. После смерти аббата дочь оказалась большой обузой для старого дворянина. Он почувствовал себя чересчур слабым, чтобы выдержать борьбу, которая неминуемо возникла бы из-за его собственной скупости и независимого нрава праздной девицы. Как все юные особы, не пожелавшие идти проторенной дорожкой, предуказанной женщине, Наис составила собственное мнение о браке и ничуть к нему не стремилась. Ей претила мысль подчинить свой ум и свою личность одному из тех мужчин, незначительных и отнюдь не блещущих доблестью, с какими ей доводилось встречаться. Она желала повелевать, а принуждена была повиноваться. Она, ни минуты не колеблясь, бежала бы с возлюбленным, лишь бы не подчиниться грубым прихотям человека, который не относился бы бережно к ее вкусам. Г-н де Негрпелис все же был дворянином и опасался неравного брака. Как многие отцы, он рассудил за благо выдать дочь замуж не столько ради нее, сколько ради собственного спокойствия. Он мечтал о титулованном, а то и простом дворянине недалекого ума, неспособном сутяжничать из-за отчета по опеке, каковой он полагал представить дочери, о человеке, достаточно ограниченном и слабовольном, чтобы Наис могла жить, как ей вздумается, и достаточно бескорыстным, чтобы жениться на ней без приданого. Но где найти человека, равно удобного и для отца и для дочери? Такой человек был бы не зятем, а сущим кладом. Исходя из интересов своих и дочерних г-н де Негрпелис стал присматриваться к женихам у себя в провинции, и г-н де Баржетон показался ему единственным, кто отвечал всем его требованиям. Г-н де Баржетон, мужчина лет сорока, сильно потрепанный любовными похождениями в молодости, славился чрезвычайным скудоумием; но у него было достаточно здравого смысла, чтобы вести свои дела, и достаточно светского лоску, чтобы, вращаясь в ангулемском высшем обществе, не попасть впросак и не натворить глупостей. Г-н де Негрпелис начистоту разъяснил дочери, какова отрицательная ценность образцового мужа, которого он нашел для нее, и дал понять, какие выгоды она может извлечь из этого брака для своего собственного счастья: она будет носить фамилию Баржетонов и получит право на их древний герб: *четверочастный щит; в первой части по золотому полю три червлених оленьих головы вправо, две над одной; в четвертой части по золотому полю три черных бычьих головы впрямь, одна над двумя; во второй и третьей частях по шести серебряных и лазоревых поясов; лазоревые пояса обременены шестью раковинами – три, две и одна*. Обзаведясь таким спутником жизни, она может распорядиться по своему вкусу своей судьбой, будучи защищена законом и поддержана теми связями, которые ей, безусловно, обеспечены в Париже ее умом и красотой. Наис предвкушала удовольствия подобной свободы. Г-н де Баржетон полагал, что делает блестящую партию, ибо рассчитывал, что тесть не замедлит оставить ему в наследство имение, которое тот расширял с такой любовью, но в то время казалось, что скорее г-ну де Негрпелис доведется сочинять эпитафию своему зятю.

В ту пору г-же де Баржетон было тридцать шесть лет, а ее мужу пятьдесят восемь. Различие возрастов поражало особенно неприятно потому, что де Баржетона можно было счесть за семидесятилетнего старика, меж тем как его жена могла безнаказанно разыгрывать из себя молодую девушку, одеваться в розовые платья и причесываться по-девичьи. Хотя состояние их приносило не свыше двенадцати тысяч ливров годовой ренты, они причислялись к шести самым богатым семьям старого города, исключая купцов и чиновников. Необходимость, в ожидании наследства, ухаживать за отцом, чтобы затем переселиться в Париж, – а старик пережил зятя! – принудила г-жу де Баржетон жить в Ангулеме, где блистательные качества ума и нетронутые сокровища, таившиеся в сердце Наис, обречены были увядать бесплодно и со временем стать смешными. И точно, наши смешные стороны рождаются обычно из прекрасных чувств, из достоинств или способностей, доведенных до крайности. Гордость, не умеренная привычками большого света, перерождается в чопорность, разменивается попусту, вместо того чтобы приобретать величие в кругу возвышенных чувств. Восторженность – достоинство из достоинств, – порождая святых, вдохновляющая на тайное самопожертвование и поэтические взлеты, обращается в плену провинциальной жизни в напыщенность. Вдали от центра, где блистают великие умы, где самый воздух насыщен мыслью, где все постоянно обновляется, старомодной становится даже образованность, вкус портится, как стоячая вода. Страсти, не находя выхода, мельчают, возвеличивая малое. Вот причина скупости и сплетен, отравляющих жизнь в провинции! Узость мысли и мещанство в быту быстро прививаются самой утонченной натуре. Так погибают мужчины, недюжинные от природы, женщины, обещавшие стать очаровательными, пройди они школу большого света и обогатись духовно под влиянием возвышенных умов. Г-жа де Баржетон бралась за лиру по самому ничтожному поводу, не отличая поэзии для себя от поэзии для общества. Однако ж есть неизъяснимые чувства, их надобно таить в себе. Конечно, солнечный закат – величественная поэма, но не смешна ли женщина, описывающая его в пышных словах людям, лишенным воображения? Есть радости, которыми могут наслаждаться только поэт с поэтом, сердце с сердцем. У нее была слабость к вычурным фразам, наспигованным высокопарными словами и остроумно именуемым *тартинками* на жаргоне журналистов, которые каждое утро угощают ими своих подписчиков, проглатывающих их, как бы они ни были неудобоваримы. Она чересчур злоупотребляла превосходной степенью, и в ее речах незначительные вещи принимали чудовищные размеры. В ту пору она уже стала все *типизировать, индивидуализировать, синтезировать, драматизировать, романтизировать, анализировать, поэтизировать, прозаизировать, ангелизировать, неологизировать, трагедизировать*, у нее была какая-то *титаномания*; что делать, приходится порой насиловать язык, чтобы изобразить новейшие причуды, усвоенные иными женщинами! Впрочем, мысль ее воспламенялась, как и ее речь. И сердце ее и уста пели дифирамбы. Она трепетала, она замирала, она приходила в восторг решительно от всего: и от самопожертвования какой-нибудь кармелитки, и от казни братьев Фоше, от «Ипсибоэ» виконта д'Арленкура и от «Анаконды» Льюиса, от побега Лавалета и от отваги своей подруги, криком обратившей в бегство воров. Для нее все было возвышенным, необычайным, странным, божественным, чудесным. Она воодушевлялась, гневалась, унывала, окрылялась, опускала крылья, взирала то на небо, то на землю; глаза ее источали слезы. Она растрчивала жизнь на вечные восхищения и чахла, снедаемая неизъяснимым презрением ко всему миру. Она понимала янинского пашу, она желала помериться с ним силами в его серале, ее пленяла участь женщины, зашитой в мешок и брошенной в воду. Она завидовала леди Эстер Стенхоп, этому синему чулку пустыни. Она мечтала постричься в монахини ордена Святой Камиллы и умереть в Барселоне от желтой лихорадки, ухаживая за больными: вот высокая и достойная судьба! Короче, она жаждала всего, что не было прозрачным источником ее жизни, скрытым в густых травах. Она обожала лорда Байрона, Жан-Жака Руссо, все поэтические и драматические существования. Она приберегала слезы для всех несчастий и фанфары для всех побед. Она сочувствовала Наполеону в изгнании, она сочув-

ствовала Мехмету-Али, истреблявшему тиранов Египта. Короче, она окружала неким ореолом гениальных людей и воображала, что они питаются ароматами и лунным светом. Многим она казалась одержимой безумием, неопасным для окружающих; но проницательный наблюдатель во всех этих странностях приметил бы обломки великолепной любви, рухнувшей, едва возникнув, развалины небесного Иерусалима – словом, любовь без возлюбленного. Так оно и было. Историю восемнадцати лет замужества г-жи де Баржетон можно рассказать в немногих словах. Некоторое время она жила своим внутренним миром и смутными надеждами. Затем, поняв, что жизнь в Париже, о которой она вздыхала, для нее невозможна, ибо ей не по средствам, она стала присматриваться к окружающим и ужаснулась своего одиночества. Вокруг нее не было никого, кто мог бы вдохновить ее на те безумства, каким предаются женщины, побуждаемые отчаянием, причина которого кроется в жизни безысходной, пустой, бесцельной. Она ни на что не могла надеяться, даже на случай, ибо бывают жизни без случайностей. Во времена Империи, в самые блистательные дни ее славы, когда Наполеон совершал поход в Испанию с отборными своими войсками, надежды этой женщины, до той поры обманутые, вновь проснулись. Любопытство естественно побуждало ее увидеть героев, покорявших Европу по одному слову императорского приказа и воскрешавших баснословные подвиги времен рыцарства. Города, самые скупые и самые непокорные, принуждены были давать празднества в честь императорской гвардии, которую, точно коронованных особ, мэры и префекты приветствовали торжественными речами. Г-жа де Баржетон на бале, данном в честь города каким-то полком, пленилась юным дворянином, простым корнетом, которого лукавый Наполеон прельстил жезлом маршала Франции. Страсть сдержанная, благородная, глубокая, ничуть не похожая на те страсти, что в ту пору так легко увязывались и приходили к развязке, была освящена в своем целомудрии рукою смерти. Под Ваграмом пушечное ядро раздробило на груди маркиза де Кант-Круа заветный портрет, свидетельствовавший о былой красоте г-жи де Баржетон. Она долго оплакивала прекрасного юношу, который за две кампании дослужился до полковника, воодушевляемый славой, любовью, и выше всех императорских милостей ценил письмо Наис. Скорбь набросила на лицо этой женщины тень грусти. Облако рассеялось лишь в том страшном возрасте, когда женщина начинает сожалеть о лучших годах, погибших для наслаждений, когда она видит увядающими свои розы, когда желания любви возрождаются вместе с жаждой продлить последние улыбки молодости. Все ее совершенства обратились в яд для ее души в тот час, когда она ощутила холод провинции. Как горностаи, она умерла бы от тоски, если бы запятнала себя случайной близостью с одним из тех мужчин, вся отрада которых картежная игра по маленькой после отменного обеда. Гордость уберегла ее от пошлых провинциальных связей. Будучи вынужденной выбирать между ничтожеством окружавших ее мужчин и отречением от любви, женщина, столь выдающаяся, должна была предпочесть последнее. Итак, замужество и свет обратились для нее в монастырь. Она жила поэзией, как кармелитка религией. Творения знаменитых чужестранцев, до той поры неизвестных, появившиеся между 1815 и 1821 годами, возвышенные трактаты г-на де Бональда и г-на де Местра, этих двух орлов мысли, наконец, менее величественные произведения французской литературы, пустившей свои первые мощные побеги, скрасили ее одиночество, но не смирили ни ее ума, ни ее нрава. Она держалась гордо и стойко, как дерево, пережившее грозу. Достоинство выродилось в чопорность, царственность – в спесивость и жеманство. Как все люди, притязавшие на поклонение, но неприязательные в выборе поклонников, она царила, несмотря на свои недостатки. Таково было прошлое г-жи де Баржетон: безрадостная повесть, рассказать которую надобно было для того, чтобы объяснить близость этой дамы с Люсьеном, представленным ей достаточно необычно. В ту зиму в городе появилось лицо, оживившее однообразную жизнь г-жи де Баржетон. Освобдилось место начальника управления косвенными налогами, и г-н де Барант предоставил его человеку настолько прославленному своими похождениями, что женское любопытство должно было послужить ему пропуском к местной королеве.

Господин дю Шатле, появившийся на свет просто Сикстом Шатле, но в 1806 году возмевший лестную мысль отитуловаться, был одним из тех приятных молодых людей, которые при Наполеоне ускользнули от всех рекрутских наборов, держась вблизи императорского солнца. Он начал карьеру в должности личного секретаря одной из принцесс императорской фамилии. Г-н дю Шатле обладал всеми качествами, полезными в этой должности. Он был статен, хорош собою, отлично танцевал, отменно играл на бильярде, слыл чуть ли не гимнастом; посредственный актер-любитель, исполнитель романсов, ценитель острословия, готовый на все услуги, подобострастный, завистливый, он знал все и не знал ничего. Невежественный в музыке, он с грехом пополам аккомпанировал на фортепьяно какой-нибудь даме, «из любезности» согласившейся спеть романс, который она, однако, усердно разучивала в продолжение месяца. Лишенный всякого чувства поэзии, он отважно просил позволения подумать десять минут и сочинял экспромт – какое-нибудь плоское, как пощечина, четверостишие, где рифмы заменяли мысль. Г-н дю Шатле был одарен еще одним талантом: он умел вышивать по канве и оканчивал вышивки, начатые принцессой; с необычайным изяществом он держал мотки шелка, когда принцесса их разматывала, и нес всякий вздор, прикрывая непристойности более или менее прозрачным покровом. Невежественный в живописи, он мог намарать копию с пейзажа, набросать профиль, нарисовать и раскрасить эскиз костюма. Словом, он обладал всеми легковесными талантами, служившими весьма весомым основанием к успеху в ту пору, когда женщины были влиятельнее, нежели то принято думать. Он мнил себя знатоком в дипломатии, науке тех, кто ни в какой науке не сведущ и чья пустота сходит за глубокомыслие, – науке, впрочем, чрезвычайно удобной, ибо практически она выражается в несении высоких должностей и, обязывая людей к скрытности, дозволяет невеждам хранить молчание, отделяться таинственным покачиванием головы, и, наконец, потому, что сильнее всех в этой науке тот, кто плавает, держа голову на поверхности потока событий, и притом с таким видом, точно он управляет ими, хотя вся суть в его особой легковесности. Тут, как и в искусстве, на одного даровитого человека приходится тысяча посредственностей. Несмотря на обычную и чрезвычайную службу при ее императорском высочестве, его высокая покровительница, при всей своей влиятельности, все же не пристроила его в Государственном совете: не потому, что из него не вышел бы восхитительный, не хуже других, докладчик прошений, но принцесса находила, что он более на месте при ней, нежели где-либо. Однако ж он получил титул барона, отправился в Кассель в качестве чрезвычайного посла и поистине произвел там чрезвычайное впечатление. Короче, Наполеон воспользовался им в один из критических моментов как дипломатическим курьером. Накануне падения Империи барону дю Шатле был обещан пост посла в Вестфалии, при Жероме. Когда это, как он выражался, семейственное посольство сорвалось, он приуныл; он отправился путешествовать по Египту с генералом Арманом де Монриво. Разлученный со своим спутником при чрезвычайно загадочных обстоятельствах, он два года скитался из пустыни в пустыню, от племени к племени, пленником арабов, которые перепродавали его из рук в руки, не умея извлечь ни малейшей пользы из его талантов. Наконец он очутился во владениях имама Маскатского, в то время как Монриво направлялся в Танжер; но ему посчастливилось застать в Маскате английский корабль, снимавшийся с якоря, и он воротился в Париж годом ранее своего спутника. Недавние злключения, кое-какие прежние связи, услуги, оказанные особам, бывшим в ту пору в милости, расположили к нему председателя совета министров, и тот прикомандировал его к барону де Баранту, при котором он и состоял, ожидая, пока освободится должность. Роль, которую исполнял г-н дю Шатле при ее императорском высочестве, слава баловня женщин, удивительные приключения во время его путешествия по Египту, перенесенные им страдания – все это возбудило любопытство ангулемских дам. Изучив нравы верхнего города, барон Сикст дю Шатле повел себя соответственно. Он корчил больного, разыгрывал человека разочарованного, пресыщенного. Он поминутно хватался за голову, точно старые раны не давали ему покоя, – наивная уловка, чтобы поддержать интерес

к себе, постоянно напоминая о своих странствованиях. Он был принят у высших властей: у генерала, префекта, главноуправляющего окладными сборами, у епископа, но всюду держал себя учтиво, холодно, слегка презрительно, как человек, который знает, что ему тут не место, и ожидает милостей свыше. Он предоставлял лишь догадываться о своих светских талантах, которые, впрочем, выигрывали от этой таинственности; наконец он повсюду стал желанным гостем, неизменно подогревая интерес к себе; попутно он убедился в ничтожестве мужчин и, пристально изучив в женщин во время воскресных богослужений в соборе, признал в г-же де Баржетон особу, достойную его внимания. Он счел, что музыка откроет ему двери этого дома, недоступного для простых смертных. Тайком достав мессу Мируара, он разучил ее на фортепьяно; затем, однажды в воскресенье, когда все высшее ангулемское общество слушало мессу, он восхитил невежд своей игрою на органе и оживил интерес к своей особе, нескромно разгласив через церковных служителей имя органиста. При выходе из собора г-жа де Баржетон поздравила его с успехом и посетовала, что не имела случая заняться с ним музыкой; конечно, желанная встреча окончилась приглашением бывать в доме, а этого он бы не достиг прямой просьбой. Ловкий барон явился к королеве Ангулема и всем напоказ стал за нею волочиться. Старый красавец, ибо барон был в возрасте сорока пяти лет, заметил в этой женщине молодость, которую можно оживить, сокровища, из которых можно извлечь пользу, богатую вдову в будущем, на которой, как знать, нельзя ли было жениться? Короче, он усматривал в ней случай породниться с семейством де Негрпелис, что дозволило бы ему сблизиться в Париже с маркизой д'Эспар и, при ее покровительстве, вступить сызнова на политическое поприще. Несмотря на то что темная, чрезмерно разросшаяся омела портила это чудесное дерево, он решил заняться им, очистить, подрезать, поухаживать за ним и добиться от него прекрасных плодов. Аристократический Ангулем восстал против допущения гяура в Касбу, ибо гостиная г-жи де Баржетон была оплотом самого чистокровного общества. Завсегдатаем там был только епископ; там префекта принимали лишь два или три раза в год; главноуправляющий окладными сборами так и не проник туда: г-жа де Баржетон бывала в его доме на вечерах и концертах, но никогда у него не обедала. Гнушаться главноуправляющим сборами и радушно принимать простого начальника налогового управления – подобное нарушение иерархии было непостижимым для обиженных сановников.

Кто может мысленно войти в круг этих мелочных интересов, которые, впрочем, можно наблюдать во всех слоях общества, тот поймет, каким внушительным казался особняк де Баржетонов ангулемской буржуазии. Что касается жителей Умо, величие этого крохотного Лувра, слава этого ангулемского отеля Рамбулье ослепляли их на расстоянии, подобно солнцу. Однако ж на двадцать лье в округе не найти было более жалких, более убогих духом, более скудоумных людей, нежели посетители этого дома. Политика там сводилась к пустым и велеречивым разглазительствам: «Котидьен» почиталась там газетой умеренной, Людовик XVIII слыл якобинцем. Что касается женщин, то, в большинстве глупые и неизящные, нелепо разряженные, они все были уродливы, каждая по-своему; ничто в них не привлекало – ни их речь, ни их наряд, ни их телесные прелести. Не имей Шатле притязаний на г-жу де Баржетон, он не вынес бы этого общества. Однако ж манеры и дух касты, породистая внешность, гордость мелкопоместных феодалов, знание законов учтивости облекали собою всю эту пустоту. Верноподданнические чувства здесь были более искренни, нежели в кругах парижской знати; тут во всем своем блеске проявлялась почтительная привязанность к Бурбонам, *несмотря ни на что*. Здешнее общество можно было бы уподобить, если уж допустить такой образ, старомодному столовому серебру, почерневшему, но массивному. Косность политических мнений могла сойти за верность. Расстояние, отделявшее это общество от буржуазии, трудность доступа туда как бы возводило его на мнимую высоту и создавали ему условную ценность. Каждый из этих дворян имел в глазах обывателей некую цену, подобно тому как ракушки заменяют деньги неграм племени Бамбара.

Многие дамы, обласканные вниманием г-на дю Шатле и признавшие в нем достоинства, отсутствующие у мужчин их круга, укротили возмущенные самолюбия: все они надеялись присвоить наследие ее императорского высочества. Блюстителю нравов полагали, что хотя он и втерся к г-же де Баржетон, однако же в других домах принят не будет. Дю Шатле выслушал немало колкостей, но удержался на своей позиции, обхаживая духовенство. Он льстил слабостям ангулемской королевы, отзывавшим глубокой провинцией, и, помимо того, приносил ей все вновь выходящие книги, читал появлявшиеся в печати стихи. Они вместе восторгались творениями молодых поэтов, она – чистосердечно, он – скучая, ибо, как человек императорской школы, он слабо понимал романтическую поэзию, хотя и выслушивал стихи достаточно терпеливо. Г-жа де Баржетон, восхищенная этим возрождением под сенью королевских лилий, полюбила Шатобриана за то, что он назвал Виктора Гюго *вдохновенным ребенком*. Она грустила о том, что лишь понаслышке знакома с этим гением, и вздыхала о Париже, где живут великие люди. И вот барон дю Шатле решил сотворить чудо: он возвестил, что в Ангулеме существует свой «вдохновенный ребенок» – юный поэт, который, сам того не ведая, блеском восходящей звезды затмевает парижские созвездия. Будущая знаменитость родилась в Умо! Директор коллежа показывал барону прелестные стихи. Бедный и скромный юноша был новым Чаттертоном, но чуждым политического вероломства и той бешеной ненависти к сильным мира сего, которая побудила английского поэта писать памфлеты на своих благодетелей. Среди пяти или шести лиц, разделявших ее вкус к искусству и литературе, – потому ли, что тот пиликал на скрипке, а этот марал сепией бумагу, один в качестве председателя Земледельческого общества, другой оттого, что у него был бас, позволявший ему, точно охотнику, затравившему оленя, прореветь «*Se fiato in corpo avete*»⁶, – среди этих причудливых фигур г-жа де Баржетон чувствовала себя, как голодный человек на театральном пиршестве, где стол ломится от бутфорских яств из картона. Нет средств изобразить ту радость, с какой она приняла эту весть. Она желала видеть поэта, видеть этого ангела! Она была без ума от него, она восторгалась только им, она только о нем и говорила. Днем позже бывший дипломатический курьер беседовал с директором коллежа о том, что надобно представить Люсьена г-же де Баржетон.

Только вы, бедные илоты провинции, вынужденные преодолевать бесконечные сословные расстояния, которые в глазах парижан укорачиваются со дня на день, только вы, над кем столь жестоко тяготеют преграды, воздвигнутые между различными мирами нашего мира, которые предают друг друга анафеме и вопиют: *Ракá*, – только вы поймете, как взволновалось сердце и воображение Люсьена Шардона, когда его почтенный директор сказал, что перед ним распахнутся двери особняка де Баржеонов! Слава принудила их повернуться на своих петлях. Радужный прием ожидает его в этом старом доме со щипцовой крышей, манившей его взор, когда он вечером гулял по бульвару Болье с Давидом и думал, что их имена никогда, может быть, не дойдут до слуха этих людей, глухих к науке, если ее голос исходит из низов. В тайну была посвящена только его сестра. Как подобает хорошей хозяйке и доброй волшебнице, Ева извлекла несколько луидоров из своей сокровищницы и купила Люсьену изящные башмаки у лучшего башмачника в Ангулеме и новый фрак у самого знаменитого портного. Его праздничную сорочку она украсила выстиранным собственными руками и наплоенным жабо. Как она радовалась, увидев его таким нарядным! Как она гордилась братом! Сколько советов она ему преподавала! Она предугадала тысячи мелочей. Люсьен, вечно погруженный в свои мысли, усвоил привычку облакачиваться, стоило ему только сесте, и случалось, что в рассеянности он придвигал к себе стол, чтобы опереться; Ева предостерегала брата от столь непринужденного поведения в аристократическом святилище. Она проводила его до ворот Сен-Пьер, дошла с ним почти до самого собора, сопровождала его взглядом, покамест он не скрылся в улице Болье, направляясь к бульвару, где ожидал его г-н дю Шатле. Бедняжка замерла от волнения,

⁶ Если бы в теле дыхание было (*ит.*).

точно свершалось какое-то великое событие. Люсьен у г-жи де Баржетон! Для Евы то было зарей его счастья. Наивная девушка! Она не знала, что там, где замешано честолюбие, нет места чистосердечию.

Внешний вид дома не поразил Люсьена, когда он вошел в улицу Минаж. Этот Лувр, столь возвеличенный его мечтами, был построен из местного пористого камня, позолоченного временем. Здание достаточно унылое со стороны улицы и крайне простое изнутри: строгая, почти монастырская архитектура, провинциальный двор, мрачный и опрятный. Люсьен вошел по старой лестнице с перилами из орехового дерева, с каменными ступенями лишь до парадных покоев. Он прошел через скромную прихожую, через большую, тускло освещенную гостиную и застал свою владычицу в маленькой гостиной, отделанной резными панелями во вкусе прошлого века, окрашенными в серый цвет. Над дверьми – в подражание барельефам – роспись в одну краску. Стены украшал ветхий пунцовый штоф с незатейливым багетом. Старомодная мебель стыдливо пряталась под чехлами в пунцовую и белую клетку. Поэт увидел г-жу де Баржетон: она сидела на диване с обивкой в стежку, за круглым столом, покрытым зеленой ковровой скатертью, при свете двух свечей в старинном подсвечнике с козырьком. Королева не поднялась ему навстречу, она лишь жеманно изогнулась на своем ложе, улыбнувшись поэту, чрезвычайно взволнованному этим змеиным движением, исполненным, как ему казалось, неизъяснимого изящества. Удивительная красота Люсьена, робость его манер, голос – все в нем пленило г-жу де Баржетон. Поэт – это уже была сама поэзия. Между тем и в глазах юноши, украдкой изучавшего ее восхищенными взглядами, облик этой женщины находился в полном согласии с ее славой: он не был обманут в своих мечтаниях о знатной даме. Г-жа де Баржетон носила, следуя последней моде, черный бархатный берет с прорезями. Убор этот, напоминая о Средних веках, так сказать, поэтизирует женщину, что всегда пленяет сердце юноши; при свете свечей ее рыжеватые непокорные локоны, выбиваясь из-под берета, казались золотыми и как бы огненными в изгибах завитков. Благородная дама ослепляла белизною кожи, искупавшей рыжий цвет волос – мнимый недостаток для женщины. Серые глаза сияли; лоб, уже тронутый морщинами, но белый, словно изваянный из мрамора, великолепно венчал эти глаза, обведенные перламутровой каймою, и голубые жилки по обе стороны переносицы оттеняли безупречность этой нежной оправы. Нос с горбинкой, как у Бурбонов, подчеркивал страстность этого удлинённого лица, являя собою черту, некогда выдававшую царственную горячность Конде. Локоны слегка прикрывали шею. Небрежно повязанная косынка позволяла видеть беломраморные плечи, за узким корсажем взор угадывал совершенной формы грудь. Тонкой и холеной, но несколько суховатой рукой г-жа де Баржетон дружески указала молодому поэту на стул подле себя. Г-н дю Шатле сел в кресла. Тут Люсьен заметил, что в комнате их было только трое. Речи г-жи де Баржетон опьянили поэта из Умо. Три часа, проведенные в ее обществе, почудились Люсьену сном, который мечтаешь продлить. Эта женщина казалась ему скорее исхудавшей, нежели худощавой, увлекающейся, но не испытывавшей любви, болезненной вопреки крепости сложения; а все ее недочеты, преувеличенные жеманством, пленили его, ибо молодым людям в пору первой юности нравится преувеличение, этот обман прекрасных душ. Он не заметил ни поблекших ланит, ни той особой, кирпичного оттенка красноты, что налагают на наши лица заботы и огорчения. Горячий блеск глаз, изящество локонов, ослепительная белизна кожи прежде всего поразили воображение поэта; он был заморожен этим блистанием, как мотылек пламенем свечи. Притом чересчур многое говорила ее душа его душе, чтобы он мог судить женщину. Увлечательность этой женской восторженности, вдохновенность несколько старомодных фраз, обычных в обиходе г-жи де Баржетон, но для него новых, очаровали его тем легче, что он желал во всем видеть очарование. Стихов с собой он не принес, но о стихах и не вспомнил: он забыл о сонетах, чтобы иметь причину опять прийти в ее дом; г-жа де Баржетон о стихах не упоминала, потому что в ближайший день желала пригласить его прочесть их. Не было ли то залогом сердечного согласия! Г-н Сикст дю Шатле остался недо-

волен подобным приемом. Он поздно заметил соперника в этом красивом юноше и, в намерении подчинить его своей дипломатии, проводил поэта до поворота дороги, где начинается спуск от Болье. Люсьен немало удивился, когда управляющий косвенными налогами, хвалясь, что он представил его г-же де Баржетон, почел возможным преподать ему некоторые советы.

Дай Бог, чтобы с Люсьеном лучше обошлись, нежели с ним самим, говорил г-н дю Шатле. Двор менее чванлив, нежели это общество тупиц. Тут могут нанести неслыханные обиды, тут-то ты почувствуешь, что значит ледяное презрение. Ежели эти люди не переменятся, революция 1789 года неминуемо повторится. Что до него касается, он бывает в этом доме только из симпатии к г-же де Баржетон, единственной сколько-нибудь интересной женщине в Ангулеме; он стал волочиться от скуки и влюбился до потери памяти. Он будет обладать ею, он любим, это видно по всему. Покорить эту гордую королеву – вот его отмщение этому глупому аристократическому гнезду.

Шатле принял позу человека, страстно влюбленного, способного убить соперника, ежели бы таковой встретился. Старый ветренник времен Империи обрушился всей своей тяжестью на бедного поэта, пробуя подавить его значительностью своей особы и нагнать страху. Рассказывая о своем путешествии, он сгущал краски, чтобы себя возвеличить, но если он тронул воображение поэта, то ни в какой степени не устрасил влюбленного.

С этого вечера, наперекор старому фату, несмотря на его угрозы и осанку штатского вояки, Люсьен стал бывать у г-жи де Баржетон, сперва соблюдая скромность, подобающую обывателю Умо, затем посещения участились, коль скоро он освоился с тем, что прежде ему казалось великой милостью. Сын аптекаря для людей этого круга был сущим ничтожеством. Какой-нибудь дворянин или дама, приехав с визитом к Наис и встретив у нее Люсьена, обходились с ним подчеркнуто учтиво, как принято у людей светских в обращении с низшими. Сперва Люсьен находил общество ангулемской местной знати чрезвычайно приятным, потом он понял, из каких чувств исходит ее притворная любезность. Он скоро уловил покровительственный тон в обращении с ним, и в нем заговорила злоба, укрепившая его в исполненных ненависти республиканских чувствах, с которых многие из будущих патрициев начинают свою великосветскую карьеру. Но каких мучений не претерпел бы он ради Наис, как именовали ее в своем кругу члены этого клана, где мужчины и женщины, подражая испанским грандам *исливкам* венского общества, называли друг друга уменьшительными именами – последняя тонкость сословного отличия, придуманная ангулемской аристократией.

Наис была любима, как бывает любима юношей первая женщина, которая ему льстит, ибо Наис предрекала Люсьену блестящую будущность и громкую славу. Г-жа де Баржетон применила всю присущую ей ловкость, чтобы оправдать свою близость с поэтом. Она не только превозносила его сверх всякой меры, но и рисовала его нуждающимся юношей, которого желала бы пристроить; она умаляла его, чтобы удержать при себе; она выдавала его за своего чтеца, секретаря; но она любила его более, нежели думала когда-либо полюбить после постигшего ее страшного несчастья. Внутренне она укоряла себя, она говорила себе: не безрассудно ли полюбить двадцатилетнего юношу, притом столь низко поставленного в обществе? Короткость обращения находилась в своем нравном противоречии с ее высокомерием, внушенным выскательностью. Она выказывала себя то надменной покровительницей, то льстивой поклонницей. Итак, Люсьен, сперва робевший перед высоким положением этой женщины, пережил все страхи, надежды, разочарования, которые выковывают первую любовь, что так глубоко западает в сердце под ударами горя и радости, ускоряющими его биение. В продолжение двух месяцев он видел в ней благодетельницу, готовую по-матерински о нем заботиться. Но излишества начались. Г-жа де Баржетон уже называла своего поэта «милым Люсьеном», затем просто «милым». Поэт, осмелев, дерзнул назвать эту важную даму «Наис». Услышав из его уст это имя, она выказала негодование, столь лестное для юноши: она упрекнула его за то, что он называет ее как все. Надменная и высокородная Негрпелис желала, чтобы ее прекрасный

ангел называл ее так, как никто не называет, ее вторым именем: она желала быть для него Луизой. Люсьен вознесся до третьих небес любви. Однажды вечером Люсьен вошел в ту минуту, когда Луиза рассматривала чей-то портрет, который она поспешно спрятала; он пожелал его посмотреть. Желая укротить бурное отчаяние пробудившейся ревности, Луиза показала портрет юного Кант-Круа и не без слез поведала печальную повесть своей любви, столь чистой и столь жестоко прерванной. Не готовилась ли она нарушить верность мертвецу или думала создать Люсьену соперника в этом портрете? Люсьен был чересчур молод, чтобы изучать свою возлюбленную, отчаяние его было наивным, ибо она открывала военные действия, в ходе которых женщина вынуждает мужчину пробить брешь в более или менее искусно возведенных укреплениях ее щепетильности. Рассуждения о долге, о приличиях, о религии – своего рода крепости, за которыми укрывается женщина, и она любит, чтобы их брали приступом. Простодушный Люсьен не нуждался в подобных уловках; он готов был сражаться без всяких ухищрений.

– Я не умру, я буду жить для вас, – отважно сказал Люсьен однажды вечером, желая покончить с г-ном де Кант-Круа, и взгляд, брошенный им на Луизу, говорил, что его страсть дошла до предела.

Испуганная быстрыми успехами этой новой взаимной любви, она напомнила поэту о стихах, обещанных им для первой страницы ее альбома, и в медлительности Люсьена пыталась найти причину для размолвки. Но что случилось с нею, когда она прочла следующие стансы, разумеется показавшиеся ей прекраснее лучших стансов аристократического поэта Каналиса:

Не созданы мои душистые страницы,
Чтоб их заполнили лишь музы небылицы
Да беглый штрих карандаша.
Порой на них мелькнет и слово неги страстной,
Признание тайное владычицы прекрасной:
Заговорит ее душа.

Когда ж на склоне лет, овеяна мечтами,
Судьбы любимица, поблекшими перстами
Листки переберет она,
Улыбкою любви блеснет ей быть живая,
Безоблачно ясна,
Подобно небесам сияющего мая⁷.

– Неужто я подсказала вам эти стихи? – спросила она.

Мнимое сомнение, внушенное кокетством женщины, которой нравилось играть с огнем, вызвало слезы на глазах Люсьена; она успокоила его, впервые поцеловала в лоб. Решительно Люсьен был великим человеком, и она желала заняться его образованием; она уже мечтала обучить его итальянскому и немецкому, придать лоск его манерам; она изыскивала причины держать его при себе неотлучно, к досаде докучливых поклонников. Как занимательна стала ее жизнь! Ради своего поэта она опять обратилась к музыке и открыла ему мир звуков; она сыграла для него несколько прекрасных вещей Бетховена и привела его в восхищение; счастливая его радостью, заметив, что он буквально изнемогает, она лукаво сказала:

– На что нам иное счастье?

Поэт имел глупость ответить:

– Да-а...

⁷ Все стихотворные переводы в тексте романа выполнены В. Левиком.

Наконец дело дошло до того, что Луиза на прошлой неделе пригласила Люсьена отобедать у нее, втроем с г-ном де Баржетоном. Несмотря на такую предосторожность, весь город узнал о событии и счел его столь невероятным, что всякий спрашивал себя: «Неужто это правда?» Шум поднялся страшный. Многим казалось, что общество накануне гибели. Другие кричали:

– Вот плоды либеральных учений!

Ревнивый дю Шатле тем временем проведаль, что г-жа Шарлотта, сиделка при роженицах, не кто иная, как г-жа Шардон, мать, как он выразился, *Шатобриана из Умо*. Выражение это было подхвачено как острота. Г-жа де Шандур первая прибежала к г-же де Баржетон.

– Вы слышали, дорогая Наис, о чем весь Ангулем говорит? – сказала она. – Ведь та самая госпожа Шарлотта, что два месяца назад принимала у моей невестки, – мать этого щелкопера!

– Дорогая моя, – сказала г-жа де Баржетон, приняв вполне царственный вид, – мудреного тут нет! Ведь она вдова аптекаря? Печальная судьба для девицы де Рюампре! Вообразите, что мы с вами очутились бы без единого су... На что стали бы мы жить? Как прокормили бы вы своих детей?

Невозмутимость г-жи де Баржетон пресекла вопли ангулемского дворянства. Возвышенные души всегда склонны возводить несчастье в добродетель. Притом в упорстве творить добро, когда это вменяется в преступление, таится неодолимый соблазн: в невинности есть острота порока. Вечером салон г-жи де Баржетон был полон ее друзей, собравшихся пожурить ее. Она выказала всю язвительность своего ума: она сказала, что, ежели дворянство не может дать ни Мольера, ни Расина, ни Руссо, ни Вольтера, ни Масильона, ни Бомарше, ни Дидро, надобно мириться с обойщиками, часовщиками, ножовщиками, дети которых становятся великими людьми. Она изрекла, что гений всегда благороден. Она распустила дворянчиков за то, что плохо понимают, в чем их истинные выгоды. Короче, она наговорила много всякого вздора, и люди менее наивные догадались бы, что было тому причиной, но присутствующие лишь воздали честь оригинальности ее ума. Итак, она отвратила грозу пушечными выстрелами. Когда Люсьен, впервые званный на ее вечер, вошел в старую, поблекшую гостиную, где играли в вист за четыремья столами, ему оказан был г-жою де Баржетон лестный прием, и она, как королева, привыкшая повелевать, представила его своим гостям. Она назвала управляющего косвенными налогами *господином Шатле*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.